



АНАТОЛЬ ФРАНС
СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИЯ



Милл 493

Annotation

«Современная история» (1897–1901), объединяющая четыре романа «Под городскими вязами», «Ивовый манекен», «Аметистовый перстень» и «Господин Бержере в Париже», это – историческая хроника с философским освещением событий. Как историк современности, Франс обнаруживает пронизательность и беспристрастие учёного изыскателя наряду с тонкой иронией скептика, знающего цену человеческим чувствам и начинаниям.

Вымышленная фабула переплетается в этих романах с действительными общественными событиями, с изображением избирательной агитации, интриг провинциальной бюрократии, инцидентов процесса Дрейфуса, уличных манифестаций. Наряду с этим описываются научные изыскания и отвлечённые теории кабинетного учёного, неурядицы в его домашней жизни, измена жены, психология озадаченного и несколько близорукого в жизненных делах мыслителя.

В центре событий, чередующихся в романах этой серии, стоит одно и то же лицо – учёный историк Бержере, воплощающий философский идеал автора: снисходительно-скептическое отношение к действительности, ироническую невозмутимость в суждениях о поступках окружающих лиц.

- [Анатоль Франс](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)

- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Анатоль Франс
Господин Бержере в Париже



Господин Бержере сидел в столовой за своим неприхотливым ужином; Рике лежал у его ног на вышитой подушке. Душа у Рике была благочестивая, и он оказывал человеку божеские почести. Он считал своего хозяина в высшей степени добрым и великим. Но особенно осознавал он могущество этой доброты и этого величия, когда видел г-на Бержере за столом. Если всякая пища казалась ему достойной внимания и ценной, то человеческую пищу он считал царственной. Столовую он чтил как храм, а обеденный стол как алтарь. Во время трапез он безмолвно и неподвижно занимал свое место у ног хозяина.

– Вот молоденькая курочка, – сказала старая Анжелика, подавая блюдо к столу.

– Очень хорошо! Пожалуйста, разрежьте, – попросил г-н Бержере, плохо справлявшийся с застольным оружием и совершенно неспособный исполнять обязанности столъника.

– Охотно, – сказала Анжелика, – но разрезать птицу – это не женское, а мужское дело.

– Я не умею.

– А следовало бы, сударь.

Такой обмен репликами не был новостью; он повторялся всякий раз, как жареная птица появлялась на столе. Не по забывчивости и, конечно, уж не по лени предлагала она хозяину поварской нож, а как знак должного почета. В крестьянской среде, из которой она происходила, и в среде мелкой буржуазии, где ей доводилось служить, полагалось по обычаю разрезать жаркое самому хозяину. Уважение к традициям крепко

укоренилось в ее преданной душе. Она с неодобрением относилась к тому, чтобы г-н Бержере их нарушал, перелагая на нее почетные функции, и за столом уклонялся от выполнения того, что являлось его долгом, раз уж он не был таким важным вельможей, как герцоги де Бресе, Бонмоны и другие городские господа и помещики, пользовавшиеся услугами дворецкого. Она знала, к чему почтенного буржуа обязывает его честь, и старалась при всяком случае вернуть г-на Бержере к исполнению его обязанностей хозяина.

– Нож сейчас только наточен. Совсем нетрудно, сударь, отрезать крылышко, когда цыпленок такой нежный. Надо только нащупать сустав.

– Анжелика, пожалуйста, разрежьте эту птицу.

Она с сожалением повиновалась и, немного смущенная, отправилась разрезать курицу на углу буфета. В отношении человеческой пищи ее воззрения были более точны, но не менее почтительны, чем воззрения Рике.

Тем временем г-н Бержере мысленно обсуждал причины предрассудка, побуждавшего эту славную женщину верить, что право разделять на части мясо принадлежит исключительно главе семьи. Он не приписывал этих причин обходительности и благожелательству мужчин, принимающих на себя утомительный и непривлекательный труд. Действительно, можно отметить, что самые тяжелые и неприятные домашние работы возлагались искони на женщин по единодушному согласию всех народов. Напротив, он связывал обычай, охраняемый старой Анжеликой, с древним представлением, согласно которому мясо животных, приготовленное в пищу человеку, является столь драгоценным, что только хозяин может и должен разрезать его и распределять. И он вспомнил «о свинопасе богоравном», Эвмее, принимавшем в своем хлеву Улисса, которого он не узнал, но которому оказал все почести как гостю, посланному Зевсом. «Эвмей приподнялся, дабы оделить всех пищею, так как обладал справедливой душой. Он разделил все на семь частей. Одну сохранил для нимф и Эвмея, сына Майи, остальные же роздал каждому из сотрапезников. А дабы почтить гостя своего, он предложил ему всю хребтовую часть свиньи. Хитроумный Одиссей, очень довольный этим, сказал: «Эвмей! Да будет к тебе навеки многомилостив прародитель Зевс за то, что почтил ты меня, каков я есть, лучшим куском!» И подле этой старой служанки, дщери кормилицы-земли, г-н Бержере почувствовал себя перенесенным в античные времена.

– Пожалуйста, сударь.

Но г-н Бержере не обладал, подобно божественному Улиссу и

гомеровским царям, героическим аппетитом. За обедом он читал газету, лежавшую перед ним на столе. Эту повадку служанка тоже не одобряла.

– Рике, хочешь цыпленка? – спросил г-н Бержере. – Великолепная штука.

Рике не ответил. Когда он пребывал под столом, он никогда не просил пищи. Как бы приятен ни был аромат блюд, он никогда не требовал своей доли. Он даже не осмеливался притронуться к тому, что ему предлагали. Он отказывался столоваться в столовой для людей. Г-н Бержере по своей сердечности и отзывчивости охотно разделил бы трапезу со своим сотоварищем. Сперва он пытался подсунуть ему несколько маленьких кусочков. Он обращался к нему приветливо, но тем тоном превосходства, который нередко сопутствует благодеяниям. Он говорил ему: «Лазарь, возьми крохи со стола доброго богача, так как для тебя по крайней мере я добрый богач».

Но Рике постоянно отказывался. Величие места пугало его. А может статься, он в прошлом получил урок, научивший его уважать пищу господина.

Однажды профессор Бержере проявил больше настойчивости, чем обыкновенно. Он долго держал перед носом своего приятеля кусок превосходнейшего мяса. Рике отвернулся и, выйдя из-под скатерти, поглядел на хозяина своими прекрасными, смиренными, полными кротости и упрека глазами, которые говорили:

– Хозяин, зачем искушаешь меня?

И, опустив хвост, подогнув лапы, ползя на животе в знак самоуничижения, он печально удалился к двери. Там он просидел до конца трапезы. И г-н Бержере восхищался святым терпением своего маленького черного друга.

Таким образом он был осведомлен о чувствах Рике. Вот почему он на этот раз и не стал настаивать. Ему, впрочем, было небезызвестно, что Рике после обеда, на котором он почтительно присутствовал, отправится в кухню, чтобы там под раковиной с жадностью проглотить овсянку, пыхтя и посапывая в свое удовольствие. Успокоившись на этот счет, г-н Бержере вернулся к прежнему ходу мыслей.

«Еда, – размышлял он, – была немаловажным делом для героев: Гомер не преминул нам рассказать о том, что во дворце златовласого Менелая Этеон, сын Боэта, разрезал мясо и делил его. Достоин похвал был тот царь, за столом которого всякий получал справедливую долю жаркого. Менелай чтит обычай. Белорукая Елена стряпала со своими прислужницами. И Этеон многочтимый разрезал мясо. Величие этого благородного занятия

сияет и поныне на бритых физиономиях наших метрдотелей. Нас связывают с прошлым глубокие корни. Но у меня нет аппетита, я плохой едок. И это тоже ставит мне в вину Анжелика Борниш, первобытная женщина. Она уважала бы меня больше, если бы я обладал прозорливостью какого-нибудь Атрида или Бурбона».

Господин Бержере дошел до этого места в своих рассуждениях, когда Рике, вскочив с подушки, с лаем кинулся к дверям.

Поступок его был достоин внимания, ибо был необычен. Собака никогда не покидала подушки, прежде чем хозяин не вставал со стула.

Рике уже лаял несколько мгновений, когда старая Анжелика, просунув в приоткрытую дверь расстроенное лицо, объявила, что «барышни» приехали. Г-н Бержере понял, что она говорила о сестре его Зоэ и дочери Полине, которых он не ждал так рано. Но ему было известно, что Зоэ всегда действовала решительно и внезапно. Он встал из-за стола. Между тем при звуке шагов, раздававшихся теперь в коридоре, Рике поднял тревогу отчаянным лаем. Врожденная осторожность дикаря, не поддавшаяся мягкому воспитанию, побуждала его видеть врага во всяком постороннем лице. Он уже чуял великую опасность, страшное вторжение в столовую, угрозу разгрома и опустошения.

Полина бросилась на шею к отцу. Г-н Бержере, не выпуская салфетки из рук, поцеловал дочь, затем несколько отступил, чтобы разглядеть эту молодую девушку, таинственную, как все молодые девушки, которую он не узнавал после года разлуки, которая представлялась ему одновременно очень близкой и очень чуждой, была с ним связана незримыми нитями родства и ускользала от него благодаря искрящейся силе своей молодости.

– Здравствуй, папа!

Голос – и тот изменился, звучал не так высоко и более ровно.

– Как ты выросла, дочка!

Она казалась ему премилой: тонкий носик, умные глаза, насмешливый рот. Он испытал удовольствие. Но удовольствие это тотчас же было испорчено мыслью, что на земле нет покоя и молодые существа в поисках счастья пускаются в неверные и трудные предприятия. Он торопливо поцеловал Зоэ в обе щеки.

– А ты, милая Зоэ, совсем не изменилась... Я не ждал вас сегодня. Но я так рад, что опять вижу вас обеих.

Рике недоумевал, почему хозяин оказывает такой радушный прием этим чужакам. Он скорее понял бы, если б тот силой выгнал их из дому, но он уже привык не понимать многого в поведении людей. Предоставив г-ну Бержере поступать как ему угодно, Рике выполнял свой долг. Он лаял изо

всей мочи, чтобы прогнать лиходеев. Затем он принялся испускать из глубины глотки рычание, полное ненависти и гнева. Безобразно ощерившись, он скалил белые зубы и, пятясь, угрожал недругам.

– У тебя собака, папа? – заметила Полина.

– Вы должны были приехать только в, субботу, – сказал г-н Бержере.

– Ты получил мое письмо? – спросила Зоэ.

– Да, – ответил г-н Бержере.

– Нет, второе?

– Я получил только одно.

– Здесь такой шум, что ничего не слышно.

Действительно, Рике заливался вовсю.

– Сколько пыли на буфете! – сказала Зоэ, кладя на него муфту. – Неужели твоя служанка совсем не убирает?

Рике не стерпел такого покушения на буфет. Питал ли он особое нерасположение к мадемуазель Зоэ или счел ее главной персоной, но его лай и рычание были преимущественно направлены против нее. Когда он увидел, что она прикоснулась рукой к хранилищу человеческой пищи, он залаял с такой пронзительностью, что стаканы зазвенели на столе. Мадемуазель Зоэ, порывисто повернувшись к нему, произнесла иронически:

– Уж не хочешь ли ты меня съесть?

Рике отбежал в испуге.

– Папа, твоя собака злая?

– Нет. Она умная и не злая.

– Не думаю, чтобы она была умна.

– Однако это так. Она не понимает всех наших мыслей, но и мы не понимаем всех ее мыслей. Души непроницаемы друг для друга.

– Ты, Люсьен, плохо разбираешься в людях, – возразила Зоэ.

Господин Бержере обратился к Полине:

– Ну-ка, дай мне на тебя посмотреть. Я тебя совсем не узнаю.

Рике осенила мысль. Он решил разыскать в кухне добрую Анжелику и предупредить ее о бесчинствах, творящихся в столовой. Только на нее надеялся он теперь, чтоб восстановить порядок и прогнать вторгшегося врага.

– Куда ты повесил портрет отца? – спросила мадемуазель Зоэ.

– Садитесь и кушайте, – сказал г-н Бержере. – Есть цыпленок и разные другие блюда.

– Папа, правда ли, что мы переезжаем в Париж?

– В будущем месяце, дочка. Ты рада?

- Да, папа. Но я охотно жила бы и за городом, будь у меня там сад. Она перестала есть цыпленка и сказала:
- Папа, я восхищаюсь тобой. Я горжусь тобой. Ты великий человек.
- Так думает и собачка Рике, – ответил г-н Бержере.

II

Обстановку профессора упаковали под наблюдением мадемуазель Зоэ и отправили на станцию железной дороги.

В дни переезда Рике грустно бродил по пустой квартире. Он недоверчиво поглядывал на Полину и Зоэ, появление которых предшествовало лишь на несколько дней разгрому некогда столь мирного жилища. Слезы старой Анжелики, плакавшей в кухне по целым дням, еще усугубляли его грусть. Самые любимые его привычки были нарушены. Незнакомые, плохо одетые люди, бранчливые и суровые, нарушали его покой и вторгались даже в кухню, где толкали ногами его миску с овсянкой и плошку со свежей водой. У него отнимали стулья один за другим, едва только он успевал на них лечь, и неожиданно выдергивали из-под него ковры, так что он уже не знал, куда деваться в своем собственном доме.

Скажем к его чести, что он сперва пытался оказать сопротивление. Когда выносили кадку, он облаял врагов самым свирепым образом. Но никто не подоспел на его призыв. Он не чувствовал поддержки ни с чьей стороны, и даже, по всей видимости, его самого преследовали. Мадемуазель Зоэ сухо сказала ему: «Замолчи же наконец». А мадемуазель Полина добавила: «Рике, ты смешон».

Отказавшись с тех пор от бесполезных предостережений и от борьбы в одиночку за общее благо, он молча сокрушался о разорении дома и бродил из комнаты в комнату, тщетно ища хотя бы капли покоя. Когда перевозчики проникали в помещение, куда он забирался, он осмотрительно прятался под стол или под комод, которых еще не успели вывезти. Но эта предосторожность приносила ему больше вреда, чем пользы, так как мебель над ним вскоре начинала колебаться, подниматься, падала обратно с грохотом и грозила его раздавить. Он убегал в полной растерянности, оцетиня шерсть, и отыскивал другое убежище, столь же ненадежное, как и первое.

Но все эти неудобства и даже опасности были ничто по сравнению с муками его сердца. Сильнее всего в нем было за дето то, что мы называем духом. Мебель в квартире не представлялась ему безжизненными предметами, но живыми и доброжелательными существами, благосклонными гениями, отсутствие которых предвещало жестокие беды. Все кухонные божества: блюда, сахарницы, сковородки, кастрюли; все идолы домашнего очага, его лары и пенаты: кресла, ковры, подушки – все

исчезло. Он не мог себе представить, чтобы можно было когда-либо исправить такое огромное бедствие. И это приносило ему столько горя, сколько могла вместить его маленькая душа. По счастью, походя на человеческую душу, она легко отвлекалась и быстро забывала страдания. Во время продолжительных отлучек беспокойных перевозчиков, когда метла старой Анжелики вздымала древнюю пыль паркета, Рике вдыхал мышинный запах, следил за бегом паука, и это развлекало его легковесную мысль. Но вскоре он снова впадал в грусть.

В день отъезда, когда положение час от часу все ухудшалось, он пришел в отчаяние. Особенно зловещим показалось ему то, что в темные сундуки укладывали белье. Полина весело и усердно упаковывала свою корзину. Он отвернулся от нее, словно она творила дурное дело. И прижавшись в угол, подумал: «Вот самое худшее! Это конец всего!» Потому ли, что он считал существующим только то, на что он смотрел, или потому, что попросту избегал тягостного зрелища, но он отводил глаза от Полины. Судьбе было угодно, чтобы Полина, расхаживая взад и вперед, заметила позу Рике. Эта поза, несомненно печальная, показалась ей комичной, и она рассмеялась. При этом она позвала: «Сюда, Рике! Пойди сюда!» Но он не вышел из своего угла и не повернул головы. В эту минуту ему было не до того, чтобы приласкаться к своей молодой хозяйке, и руководимый каким-то скрытым инстинктом, каким-то предчувствием, он боялся приблизиться к зияющей корзине. Полина позвала его несколько раз. А так как он не откликнулся, то она подошла к нему и взяла его на руки: «Ах, какие мы несчастные! какие жалкие!» – сказала она. Тон у нее был иронический. Рике не любил иронии. Мрачно и неподвижно лежал он на руках у Полины и притворялся, будто ничего не видит и не слышит, «Рике, взгляни на меня!» Трижды повторила она это приказание, и все напрасно. Тогда, притворившись сильно рассерженной, она воскликнула: «Исчезни, глупое животное!» и, швырнув его в корзину, захлопнула над ним крышку. В этот момент тетка позвала ее, и Полина вышла из комнаты, оставив Рике в его узилище.

Его охватило ужасное беспокойство. Он был далек от мысли что его посадили в корзину по веселой прихоти и ради шутки. Считая свое положение и без того достаточно опасным он старался не ухудшать его какими-либо неосмотрительными поступками. А потому он несколько мгновений оставался неподвижен, затаив дыхание. Затем, не усматривая никакой новой невзгоды, он счел нужным обследовать свою темную тюрьму. Он ощупал лапками юбки и сорочки, на которые низвергся таким плачевным образом, и стал искать лазейку, чтобы выбраться оттуда. Он уже

в течение двух-трех минут пытался это сделать, когда г-н Бержере, собиравшийся выйти из дому, позвал его:

– Рике! Рике! Поди сюда. Нам надо проститься с книгопродавцем Пайо... Рике, где же ты?

Голос г-на Бержере сразу же ободрил его. В ответ он принялся шумно и неистово скрести когтями ивовую стенку корзины.

– Где же собака? – спросил г-н Бержере у Полины, возвращавшейся со стопкой белья.

– Она в корзине, папа.

– Почему она там?

– Потому что я ее туда упрятала.

Господин Бержере приблизился к корзине и сказал:

– Так и ребенок Комат, который играл на флейте, сторожа овец своего господина, был заключен в лукошко. Пчелы Муз кормили его там медом. Но ты, Рике, умер бы с голоду в этом лукошке, ибо ты не дорог бессмертным Музам.

С этими словами г-н Бержере освободил своего друга. Рике сопровождал его до передней, виляя хвостом. Тут его осенила мысль. Он вернулся в квартиру, бросился к Полине и, стоя на задних лапах, прижался к ее юбкам. И только после того как он суетливо приласкался к ней, нагнал он своего хозяина на лестнице. Он уклонился бы, по его мнению, от правил мудрости и религии, если бы не выразил своего обожания особе, могущество которой повергло его в глубокую корзину.

Господину Бержере лавка Пайо показалась жалкой и безобразной. Пайо был занят с приказчиком «оформлением» заказов коммунальной школы. Это помешало ему проститься с профессором надлежащим образом. Он никогда не был экспансивен, а с годами мало-помалу утрачивал дар речи. Ему надоело торговать книгами, он считал дело гиблым и торопился поскорей покончить со своей лавкой, чтобы переселиться в загородный домик, где он проводил воскресные дни.

Господин Бержере по обыкновению забрался в букинистический угол и снял с полки XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий». Книга на этот раз опять раскрылась на страницах 212-й и 213-й, и на этот раз он опять прочел:

«...искать проход на север. «Именно этой неудаче, – сказал он, – мы обязаны тем, что имели возможность вновь посетить Сандвичевы острова и обогатить путешествие открытием, которое, хотя и было по времени последним, по-видимому, во многих отношениях окажется наиболее значительным из открытий, до сих пор сделанных европейцами на всем

протяжении Тихого океана». Счастливым предположениям, о которых, казалось, возвещали эти слова, к сожалению, не суждено было осуществиться».

В сотый раз он перечитывал эти строки, напоминавшие ему столько часов его неприглядной и многотрудной жизни, скрашенной, впрочем, богатой работой мысли, – строки, смысла которых он никогда не доискивался; но на этот раз они вызвали в нем тоску и уныние, словно заключали в себе символ тщеты всех наших чаяний и выражение ничтожества всего сущего. Он закрыл книгу, которую столько раз открывал, а отныне уж никогда больше не откроет, и печально вышел из лавки книгопродавца Пайо.

На площади св. Экзюпера он в последний раз окинул взглядом «дом королевы Маргариты». Лучи заходящего солнца скользили по его изукрашенным балкам, и в резкой игре света и тени гордо красовался геральдический щит Филиппа Трикульера с великолепным гербом, красноречивой эмблемой, выставленной как бы в укор и поучение этому бесплодному городу.

Вернувшись в пустынную квартиру, Рике погладил лапками ноги хозяина, поднял на него взгляд своих прекрасных печальных глаз, и взгляд этот говорил:

«Ты, недавно еще столь богатый и могущественный, неужели ты обеднел? Неужели, о господин мой, ты обессилел? Ты позволяешь людям в жалких лохмотьях вторгаться в твою гостиную, в твою спальню, в твою столовую, набрасываться на твою мебель и вытаскивать ее оттуда, вытаскивать на лестницу твоё глубокое кресло, наше с тобой кресло, где мы отдыхали друг подле друга каждый вечер, а зачастую и утром. Я слышал, как стонало в руках оборванцев это кресло, этот великий фетиш и добрый дух. Ты не препятствовал разорителям. Если тебя покинули гении, наполнявшие твой дом, если ты лишился тех маленьких божеств, что ты надевал по утрам, выходя из постели, этих туфель, которые я ласково покусывал, если ты убог и несчастен, то что же, о господин мой, станет тогда со мною!»

– Люсьен, нам надо торопиться, – сказала Зоэ, – Поезд отходит в восемь, а мы еще не пообедали. Придется пообедать на вокзале.

– Завтра ты будешь в Париже, – сказал г-н Бержере своему другу Рике. – Это знаменитый и великодушный город. Его великодушие, по правде говоря, – не проявляется всеми жителями. Напротив, им обладает лишь незначительное число горожан. Но целый город, целая нация олицетворены несколькими лицами, мысли которых отличаются силой и

справедливостью. Остальные в счет не идут. То, что именуется гением нации, сосредоточено в крохотном меньшинстве. Они редки повсюду, эти умы, достаточно независимые, чтобы отбросить дошлые страхи и обнажить скрытое лицо истины.

III

По приезде в Париж г-н Бержере поселился с сестрой Зоэ в дочь Полиной в доме, который подлежал сносу и пришелся ему по душе, поскольку он достоверно знал, что не останется там долго. Но он еще не знал, что ему при всех обстоятельствах предстояло покинуть дом сразу по истечении первого квартального срока, ибо так решила про себя мадемуазель Бержере. Она сняла это помещение только для того, чтобы на досуге найти более удобное, и противилась каким-либо тратам на отделку временной квартиры.

То был дом на улице Сены, которому минуло добрых сто лет, который и всегда был некрасив, а под старость стал безобразен. Ворота между лавкой сапожника и конторой упаковщика вели на сырой, неприглядный двор. Г-н Бержере жил на третьем этаже, и его соседом по лестничной площадке был реставратор картин. Когда дверь реставратора приоткрывалась, то можно было видеть маленькие полотна без рамок, висевшие вокруг фаянсовой печи, пейзажи, старинные портреты и спящую красавицу с янтарным телом, возлежащую в тенистой роще под изумрудным небом. Деревянная лестница, выложенная кафельными плитками на поворотах, была довольно светлая и в углах покрыта паутиной. По утрам там валялись листья салата, выроненные из сеток хозяйками. Все это не очаровывало г-на Бержере. Тем не менее ему было грустно при мысли, что и эти предметы умрут для него, как умерли многие другие, сами по себе не ценные, но составлявшие своим чередованием ткань его жизни.

Каждый день после работы он отправлялся на поиски квартиры. Он предпочел бы остаться на левом берегу Сены, где жил когда-то его отец и где всё, казалось, дышало мирной жизнью и серьезными занятиями. Особенно затрудняло его поиски плачевное состояние вновь пролагаемых улиц с их глубокими траншеями и буграми, а также непригодных для хождения и навеки искореженных набережных. Действительно, как известно, тогда, в 1899 году, весь Париж был перевернут вверх дном, потому ли, что новые условия потребовали производства обширных работ, или потому, что предстоявшее в ближайшем времени открытие Всемирной выставки сразу пробудило у всех чрезмерную активность и внезапный прилив предприимчивости.

Господина Бержере огорчал этот сумбур, необходимость которого он

не вполне улавливал. Но, будучи мудрых, он пытался утешить себя и ободрить размышлениями, и, когда он проходил по своей прекрасной набережной Малакэ, так нещадно разгромленной безжалостными инженерами, он скорбел о выкорчеванных деревьях, об изгнанных букинистах и думал не без некоторого душевного величия:

«Я лишился своих друзей, и все, что мне нравилось в этом городе, его покой, его грация и красота, его изысканная старина, его благородный исторический облик – все это насильственно сметено. Тем не менее разум должен восторжествовать над чувством. Незачем цепляться за тщетные сожаления о прошлом и скорбеть о досаждающих нам переменах, ибо перемены – основа жизни. Может стать, такая ломка необходима, и, может стать, этот город должен утратить свою традиционную красоту, дабы существование большинства его обитателей стало менее тягостным и суровым».

И г-н Бержере, наблюдая вместе с зеваками-мальчишками из пекарни и равнодушными полицейскими, как землекопы рыли почву на прославленном берегу, продолжал говорить сам с собой:

«Я вижу здесь эскиз будущего города; самые высокие здания пока отмечены только глубокими ямами; эти ямы заставляют поверхностных людей думать, что рабочие, строящие город, который нам не суждено увидеть, роют пропасти, тогда как на самом деле они, быть может, воздвигают обитель благоденствия, приют мира и радости».

Таким образом, г-н Бержере в силу своей доброжелательной натуры сочувственно относился к работе по сооружению идеального города. Труднее было г-ну Бержере приспособиться к работам в реальном городе, так как ему грозила на каждом шагу опасность провалиться по рассеянности в какую-нибудь дыру.

Он продолжал искать квартиру, но руководился при этом игрой своей фантазии. Особенно привлекала его улица Жи-ле-Кер. Иногда он обнаруживал там объявление о сдаче внаймы, помещенное рядышком с маскаронем на замковом камне, над Дверью, за которой виднелась лестничная площадка и кованые железные перила. В сопровождении грязной привратницы он взбирался по ступенькам смрадной лестницы, пропитанной крысиным зловонием, накопленным веками, и согретой на каждом этаже испарениями из нищенских кухонь. Иной раз переплетные и картонажные мастерские примешивали ко всему этому ужасающий запах испорченного клея. И г-н Бержере удалялся оттуда печальный и обескураженный.

Возвращаясь домой, он сообщал за обедом сестре Зоэ и дочери Полине

о плачевных результатах своих поисков. Мадемуазель Зоэ слушала его совершенно безучастно. Она твердо решила искать сама. Своего брата она считала человеком высшего порядка, но неспособным ни на какую разумную мысль в практической жизни.

– Я смотрел одну квартиру на набережной Конти. Не знаю, что вы обе о ней скажете. Из окон виден двор с колодцем, плющом и замшелой, искалеченной статуей Флоры, хотя и безголовой, но продолжающей плести гирлянду из роз. Я посетил также небольшое помещение на улице Шез; из него виден сад с громадной липой, которая будет влезать своими ветками в окно моего кабинета, когда распустятся листья. Полина получит большую комнату, и от нее самой будет зависеть сделать ее очаровательной при помощи нескольких метров крестона в цветочках.

– А моя комната? – спросила мадемуазель Зоэ. – Ты никогда не заботаешься о моей комнате. Впрочем...

Она не договорила, так как сообщениям брата не придавала никакой цены.

– Быть может, нам придется поселиться в новом доме, – сказал г-н Бержере, отличавшийся благоразумием и привыкший подчинять свои желания рассудку.

– Боюсь, что так, папа, – отвечала Полина. – Но будь спокоен, мы найдем для тебя деревцо, которое будет смотреть к тебе в окно. Обещаю тебе.

Она благодушно следила за ходом его поисков, без какой-либо личной заинтересованности, как всякая молодая девушка, не пугающаяся перемены, смутно сознающая, что судьба ее еще не определилась, и живущая как бы в ожидании чего-то.

– Новые дома оборудованы лучше старых, – продолжал г-н Бержере. – Но я их не люблю, может быть потому, что, глядя на их расчетливую роскошь, яснее чувствую, как тривиальна жизнь при ограниченных средствах. Не скажу, чтобы мой скудный бюджет меня особенно огорчал, даже из-за вас. Но мне претят банальность и пошлость. Вам это, вероятно, покажется бессмысленным.

– О нет, папа.

– В новых домах меня коробит однообразное расположение и слишком явное членение квартир, бросающееся в глаза даже снаружи. Уже давно горожане живут друг на друге. И так как твоя тетка и слышать не хочет о домике в пригороде, то я готов согласиться и на четвертый или пятый этаж, но все же с болью в сердце отказываюсь от старых домов. Благодаря их разнообразной структуре скученность становится не такой невыносимой.

Проходя по какой-нибудь новой улице, я постоянно ловлю себя на мысли, что нагромождение семейных очагов в современных зданиях отличается просто смешным однообразием. Эти крохотные столовые, устроенные одна над другой, с их одинаковыми окнами и медными висячими лампами, зажигающимися одновременно, эти карликовые кухни с грязнейшими служанками и с висячими шкафчиками для провизии за окнами, выходящими во двор; эти гостиные с пианино одно над другим... словом, эти новые дома с их точной планировкой вскрывают передо мной повседневные функции заключенных в них существ с такой ясностью, как если бы полы были стеклянные. А эти человеческие особы, симметрично обедающие одна под другой, музицирующие одна под другой, спящие в комнатах, расположенных одна под другой, являют собою, когда вдумаясь, комичное и унижительное зрелище.

– Жильцов это мало трогает, – возразила мадемуазель Зоэ, твердо решившая поселиться в новом доме.

– Да, – задумчиво сказала Полина, – это действительно комично.

– Кое-где мне попадались помещения, которые мне нравятся, – продолжал г-н Бержере. – Но за них просят слишком дорого. Мой эксперимент с квартирами заставляет меня сомневаться в правильности принципа, выдвинутого замечательным человеком, Фурье, по мнению которого разнообразие вкусов таково, что, если бы между людьми царил социальная гармония, то лачуги были бы в таком же спросе, как и дворцы. Правда, такой гармонии нет. Иначе мы все завели бы себе цепкие хвосты, чтобы висеть на деревьях, как обезьяны. Фурье сам подтвердил это. Человек такой же доброты, кротчайший князь Кропоткин, заверял нас, уже в недавнее время, что наступит день, когда мы сможем даром получить на фешенебельных проспектах особняки, покинутые их владельцами, потому что не найдется больше челяди для уборки таких обширных помещений. Владельцам, – говорил этот добрейший князь, – доставит удовольствие раздавать их простым женщинам, которые согласятся иметь кухню в полуподвале. А пока что жилищный вопрос – это жгучая и сложная проблема. Зоэ, будь добра сходи посмотреть помещение на улице Конти, о котором я тебе говорил. Оно в довольно запущенном состоянии, так как тридцать лет служило складом фабриканту химических изделий. Домохозяин не хочет его ремонтировать, предполагая сдать его под товарный склад. Окна там наподобие слуховых. Однако из этих окон видна стена с плющом, замшелый колодец и статуя Флоры без головы, но все еще улыбкавая. Это не так уж часто попадает в Париже.

IV

– Сдается, – сказала мадемуазель Зоэ, останавливаясь около подворотни. – Сдается, но мы ее не снимем. Слишком велика. И к тому же...

– Нет, мы ее не снимем. Но не хочешь ли зайти? Мне любопытно еще раз посмотреть ее, – робко ответил г-н Бержере своей сестре.

Они колебались. Им казалось, что, войдя под глубокий и темный свод, они вступят в царство теней.

Расхаживая по городу в поисках квартиры, они случайно забрели на узенькую улицу Гранз'Огюстен, сохранившую отпечаток старого режима и грязную, никогда не просыхающую мостовую. Им припомнилось, что в одном из домов этой улицы они провели в детстве шесть лет. Отец их, профессор университета, поселился там в 1856 году, после того как в течение четырех лет вел бродячее и скудное существование, будучи в немилости у министра, который гонял его из города в город. И это помещение, где Зоэ и Люсьен увидели свет и впервые ощутили вкус жизни, теперь отдавалось внаймы, как о том свидетельствовало объявление, трепещущее на ветру.

Проходя через ворота под свод массивного переднего корпуса, они испытали необъяснимое чувство, грустное и благоговейное. Сырой двор был обнесен стенами, которые туманы Сены и дожди постепенно застилали плесенью со времен малолетства Людовика XIV. Направо от входа примостилась пристройка, служившая помещением для привратницы. Там в амбразуре застекленной двери висела клетка с попрыгуньей-сорокой, а в глубине комнаты за цветочными горшками сидела и вышивала женщина.

– Это в третьем этаже сдается квартира?

– Да. Хотите посмотреть?

– Хотелось бы.

Привратница повела их, захватив ключ. Они молча последовали за ней. Хмурая древность этого дома в бездонное прошлое уносила воспоминания, которыми веяло на брата и сестру от почерневших камней. Они с мучительным волнением поднялись по каменной лестнице и, когда привратница открыла двери, застыли на пороге, боясь войти в эти комнаты, где, как им мерещилось, воспоминания младенчества тянулись рядами детских могилок.

– Можете войти. Квартира пустует.

Сперва нежилой вид огромных комнат и новые обои расхолодили их чувства, и они удивлялись, что испытывают такую отчужденность по отношению к этим некогда столь близкий предметам...

– Вот здесь кухня... – сказала привратница. – Здесь столовая, здесь гостиная.

Чей-то голос крикнул со двора:

– Мадам Фалампен!

Привратница высунула голову в одно из окон гостиной, затем извинилась и кряхтя, расслабленной походкой спустилась с лестницы.

Брат и сестра отдались воспоминаниям.

Перед ними начали возникать неповторимые часы, невыразимо прелестные дни детства.

– Вот наша столовая, – сказала Зоэ. – Буфет стоял здесь, у стены.

– Буфет красного дерева, по выражению отца, «потрепанный долгими странствованиями в ту пору, когда министр, ставленник декабрьского переворота, гонял бедного профессора с семьей и обстановкой с севера на юг, с востока на запад. Здесь, искалеченный и хромоногий, буфет отдыхал несколько лет.

– Вот фаянсовая печь в нише.

– Трубу сменили.

– Да, Зоэ. Наша была увенчана головой Юпитера Трофония. В те отдаленные времена у печников из переулка Дракона было в обычае украшать фаянсовые трубы изображением Юпитера Трофония.

– Ты уверен?

– Неужели ты не помнишь этой головы с бородой клином и с диадемой?

– Нет.

– Впрочем, это не удивительно. Ты всегда была равнодушна к форме предметов. Ты ничего не замечаешь.

– Я наблюдательнее тебя, мой бедный Люсьен. Это ты ничего не замечаешь. Недавно, когда Полина завила себе волосы, ты даже внимания не обратил. Если бы не я...

Зоэ не закончила фразы. Она обводила взглядом своих зеленых глаз пустую комнату и поворачивала во все стороны кончик острого носа.

– Вон в том углу подле окна сидела мадемуазель Верпи, положив ноги на грелку. По субботам был день портнихи. Мадемуазель Верпи не пропускала ни одной субботы.

– Мадемуазель Верпи, – вздохнул Люсьен. – Сколько лет было бы ей теперь? Она была уже старухой, когда мы были детьми. Она рассказывала

нам тогда историю о пачке спичек. Я запомнил ее и могу пересказать слово в слово: «Это было тогда, когда ставили статуи на мосту Святых отцов. Стоял такой свирепый мороз, что пальцы леденели. Возвращаясь домой с покупками, я засмотрелась на рабочих. Корзинка висела у меня на Руке. Какой-то хорошо одетый господин сказал мне: «Мадемуазель, вы горите!» Тут я чувствую запах серы и вижу, что у меня корзинка дымит. Загорелась моя пачка спичек в шесть су». Так рассказывала это приключение мадемуазель Верпи, – добавил г-н Бержере. – Она рассказывала его часто. Быть может, оно было самым значительным во всей ее жизни.

– Ты пропустил самую важную часть рассказа, Люсьен. Вот в точности слова мадемуазель Верпи: «Какой-то хорошо одетый господин сказал мне: «Мадемуазель, вы горите!» Я ответила ему: «Идите своей дорогой и не беспокойтесь обо мне». «Как вам будет угодно, мадемуазель». Тут я чувствую запах серы...»

– Ты права, Зоэ: я искажил текст и опустил существенное место. Своим ответом мадемуазель Верпи, которая была горбата, показала, что она девица осторожная и добродетельная. Эту черту не следовало забывать. Да и вообще, мне помнится, она была особой чрезвычайно целомудренной.

– Покойная мама страдала манией починок. Сколько у нас в доме перечинили всякой всячины!

– Да, она была рукодельница. Но особенно очаровательно было в ней то, что перед тем, как сесть за вышивку в столовой, она ставила рядом с собой на краю стола, в самом освещенном месте, фаянсовый кувшин с пучком левкоев или маргариток или же блюдо с плодами, лежащими на листьях. Она говорила, что смотреть на румяные яблоки так же приятно, как и на розы; я не помню, чтобы кто-либо больше ее ценил красоту персика или грозди винограда. Когда ей показывали в Лувре картины Шардена, она признавала, что они очень хороши. Но чувствовалось, что она предпочитает свои натюрморты. И с какой убежденностью она говорила: «Смотри, Люсьен, может ли что-либо быть красивее этого пера, выпавшего из крыла голубя!» Не думаю, чтобы кто-нибудь любил природу с большей искренностью и простотой.

– Бедная мама! – вздохнула Зоэ. – При всем этом она отличалась удручающим вкусом в отношении туалетов. Однажды она выбрала мне у Пти-Сен-Тома голубое платье. Цвет назывался «голубенький с искрой» и был просто ужасен. Это платье было несчастьем моего детства.

– Ты никогда не была кокеткой.

– Вы полагаете? Так разубедитесь. Мне доставило бы большое удовольствие быть хорошо одетой. Но надо было экономить на туалетах

старшей сестры, чтобы шить форменные куртки маленькому Люсьену. Это было необходимо.

Они перешли в узкую комнату, походившую на коридор.

– Кабинет отца, – сказала Зоэ.

– Его как будто разделили перегородкой. на две части? Мне кажется, он был больше.

– Нет, он был такой же, как теперь. Вот здесь стоял папин письменный стол. А над ним висел портрет господина Виктора Леклера. Почему ты не сохранил этой гравюры, Люсьен?

– Как! Неужели здесь умещались беспорядочные толпы его книг, целые племена поэтов, философов, историков? Еще совсем ребенком я прислушивался к тому, как они молчали, оглушая мне уши жужжанием славы. Наверное, такое именитое сборище раздвигало стены. У меня осталось воспоминание, как об обширном зале.

– Комната была набита битком. Отец запрещал нам наводить порядок в его кабинете.

– Так, стало быть, здесь работал наш отец, сидя в старом красном кресле со своей кошкой Зобеидой, лежавшей на подушке у его ног! Отсюда, значит, глядел он на нас со своей мягкой улыбкой, которую сохранил и во время болезни, до последнего часа. Я видел, как он шел навстречу смерти, с такой же тихой улыбкой, с какой шел навстречу жизни.

– Уверяю тебя, Люсьен, ты ошибаешься. Отец не сознавал, что умирает.

Господин Бержере задумался на минуту и затем сказал:

– Странно: в моих воспоминаниях он представляется мне не усталым и убеленным сединой, а совсем молодым, таким, как он был в моем раннем детстве. Я представляю его себе гибким и стройным, с черными взъерошенными волосами. Эти пряди волос, словно развеянные ветром, были вполне уместны на головах энтузиастов тысяча восемьсот тридцатого и тысяча восемьсот сорок восьмого годов. Я отлично знаю, что щетка играла тут главную роль. Но тем не менее казалось, что они живут среди бурь на горных вершинах. Мысли их были возвышенней и благороднее наших. Отец верил в наступление социальной справедливости и всеобщего мира. Он возвещал торжество республики и гармоничное возникновение объединенных государств Европы. Какое жестокое разочарование испытал бы он, если бы вернулся к нам!

Господин Бержере продолжал говорить, а мадемуазель Зоэ уже не было в кабинете. Он последовал за ней в пустую и гулкую гостиную. Тут они оба вспомнили кресло и диван гранатового цвета, с помощью которых

они в своих детских играх возводили стены и крепости.

– О! Осада Дамиеты! – воскликнул г-н Бержере. – Помнишь, Зоэ? Мама, не любившая, чтобы что-либо пропадало зря, собирала серебряные бумажки от шоколада. Однажды она подарила мне целый ворох, который я принял как роскошный подарок. Я смастерил из них каски и кирасы, наклеив их на листы из старого географического атласа. Как-то вечером к нам пришел обедать двоюродный брат Поль; я дал ему доспехи сарацина, а сам облекся в доспехи Людовика Святого. И те и другие должны были представлять собою стальную броню. Собственно говоря, ни сарацины, ни христианские бароны не носили такого вооружения в тринадцатом веке. Но подобное обстоятельство нас не смущало. И я взял Дамиету.

Этот случай напоминает мне о самом жестоком унижении, испытанном мною в жизни. Овладев Дамиетой, я взял в плен Поля, связал его прыгалкой и толкнул его с такой силой, что он упал носом вниз и, несмотря на свое мужество, стал испускать отчаянные крики. Мама прибежала на шум и, увидев на полу связанного и плачущего Поля, подняла его, отерла ему слезы, поцеловала его и сказала мне: «Как тебе не стыдно, Люсьен, бить маленького!» И это была правда: кузен Поль, и теперь не очень рослый, был тогда совсем крошкой. Я не возразил, что так поступают на войне. Я не возразил ничего и был глубоко пристыжен. И мне стало стыдно вдвойне, когда кузен с плачем, но великодушно сказал: «Я не ушибся». О, дивная гостиная наших родителей! – вздохнул г-н Бержере. – Постепенно я узнаю ее под этой новой оклейкой. Как уютны были наши дрянные обои с разводами! Какую сладостную тень бросали ужасные занавески из тёмно-красного репса, и как хорошо они сохраняли тепло! На камине Спартак, скрестив руки, метал с верхушки часов негодующий взгляд. Его цепи, которые я дергал от безделья, однажды остались у меня в руке. Чудесная гостиная! Мама иногда звала нас туда, когда принимала старых друзей. И мы шли поцеловать мадемуазель Лалуэт. Ей было за восемьдесят. Щеки ее были какие-то землистые и мшистые. С подбородка свисала заплесневелая борода. Между почерневшими губами торчал большой желтый зуб. В силу какого наваждения образ этой маленькой безобразной старушонки обладает теперь для меня притягательным очарованием? Какой магнит тянет меня воскрешать этот странный и далекий образ? Мадемуазель Лалуэт содержала себя и своих четырех кошек на пожизненную пенсию в полторы тысячи франков, из коих тратила половину на издание брошюр о Людовике Семнадцатом. Она всегда носила с собой в сумке дюжину таких брошюр. Эта добрейшая девица страстно стремилась доказать, что дофин ускользнул из Тампля в чреве деревянного

коня. Помнишь, Зоэ, как она однажды потчевала нас завтраком в своей комнате на улице Вернэй. Там под вековым слоем грязи таились чудесные богатства: золотые тавлинки и вышивки.

– Да, – отвечала Зоэ, – она показывала нам кружева, принадлежавшие Марии Антуанетте.

– У мадемуазель Лалуэт были превосходные манеры, – продолжал г-н Бержере. – Она говорила хорошим языком. Даже сохранила старинное произношение. Она выговаривала; «булевар», «кошемар». Ей я обязан тем, что соприкоснулся с эпохой Людовика Шестнадцатого. Мама звала нас здороваться и с господином Маталеном; он был не в таком преклонном возрасте, как мадемуазель Лалуэт, но поражал своим ужасным лицом. Никогда более нежная душа не ютилась в более безобразной оболочке. Это был священник, попавший под интердикт; отец встречал его в тысяча восемьсот сорок восьмом году в клубах и уважал за республиканские взгляды. Еще менее состоятельный, чем мадемуазель Лалуэт, он лишал себя пищи, чтобы, как и она, печатать брошюры. Его брошюры преследовали цель доказать, что солнце и луна вращаются вокруг земли и что в действительности они не больше кружка сыра. Такого же мнения придерживался и балаганный Пьеро; но господин Матален дошел до этого только путем тридцатилетних размышлений и вычислений. Эти брошюры еще иногда попадаются в лавчонках букинистов. Господин Матален страстно радел о благоденствии людей, которых сам он отпугивал своим ужасным безобразием. Из орбиты своего милосердия он исключал только астрономов, приписывая им самые черные замыслы. Он говорил, что они хотят его отравить, и сам готовил для себя кушанья, столько же из предосторожности, сколько и по бедности.

Таким образом, г-н Бержере, уподобляясь Улиссу в стране киммерийцев, призывал к себе тени в пустынном помещении. Он задумался на минуту и затем сказал:

– Одно из двух, Зоэ: либо во времена нашего детства было больше безумцев, чем теперь, либо отец принимал их в большем количестве, чем надо было. Видимо, он их любил. Жалость ли привлекала его к ним, или он находил их более занимательными, чем людей со здравым рассудком, но у него был их целый штат.

Мадемуазель Бержере покачала головой:

– Родители принимали людей вполне разумных и достойных. Скажи лучше, Люсьен, что невинные причуды некоторых стариков тебя поразили и ты сохранил о них живое воспоминание.

– Нет, Зоэ, не может быть никакого сомнения в том, что мы выросли

среди людей, отличавшихся необычным, не банальным складом ума. У мадемуазель Лалуэт, у аббата Мата лена, у господина Грий мозги были не совсем в порядке, – это бесспорно. Помнишь господина Грий? Рослый, полный, с багровым лицом, с серой, коротко подстриженной бородой, он и зимой и летом носил одежду из полосатого тика, после того как оба его сына погибли в Швейцарии при восхождении на глетчер. По отзывам отца, ее был тонким эллинистом. Он чутко воспринимал поэзию греческих лириков. Легко и уверенно подходил он к затрепанному толкователями тексту Феокрита. Его помешательство было тем для него благотворно, что он не верил в совершенно несомненную смерть обоих своих сыновей. Поджидая их с безрассудным упорством, он жил, облаченный в свой карнавальный наряд, в возвышенном общении с Алкеем и Сафо.

– Он приносил нам леденцы, – промолвила мадемуазель Бержере.

– То, что он говорил, было всегда мудро, изящно и красиво, – продолжал профессор, – и это нас пугало. В безумии страшнее всего – это рассудительность.

– Вечером, по воскресеньям, гостиная принадлежала нам, – сказала мадемуазель Бержере.

. – Да, – ответил ей брат. – Там после обеда забавлялись всякими играми. Играли в «цветы» и во «мнения», и мама вытягивала фанты. О невинность, о исчезнувшая простота! О наивные развлечения! О прелесть стародавних нравов! Кроме того, ставили шарады. Мы опустошали твои шкафы, Зоэ, чтобы рядиться в разные костюмы.

– Один раз вы отцепили занавески с моей кровати.

– Да, Зоэ, – чтобы одеться друидами для сцены с омелой. Загадали слово: «Филомела». Мы замечательно разыгрывали шарады. А каким превосходным зрителем был папа! Он не слушал, но зато он улыбался. Думаю, что я мог бы играть хорошо. Но взрослые затирали меня. Они всегда сами хотели говорить.

– Не обольщайся, Люсьен. Ты был совершенно неспособен исполнять какую-либо роль в шараде. У тебя нет находчивости. Я первая готова признать твой ум и твой талант. Но ты не импровизатор. И тебя не надо отрывать от твоих книг и бумаг.

– Я себя не переоцениваю, Зоэ, и знаю, что не обладаю красноречием. Но когда играли с нами Жюль Гино и дядя Морис, то нельзя было вставить слово.

– У Жюля Гино был подлинный комический талант и неистощимая живость воображения, – возразила мадемуазель Зоэ.

– Он изучал тогда медицину, – сказал г-н Бержере. – Это был красивый

юноша.

- Да, так говорили.
- Мне кажется, что ты ему очень нравилась.
- Не думаю.
- Он ухаживал за тобой.
- Это другое дело.
- А затем он внезапно исчез.
- Да.
- Ты не знаешь, что с ним случилось?
- Нет... Пойдем отсюда, Люсьен.
- Пойдем, Зоэ. Здесь мы во власти теней.

И, не оборачиваясь, брат и сестра вышли за порог старого жилища, где протекало их детство. Они молча спустились вниз по каменной лестнице. А когда они снова очутились на улице Гранз'Огюстен среди фиакров, повозок, хозяек и ремесленников, их так оглушили шум и суета жизни, словно они перед тем долго прожили в уединении.

Глаза у г-на Панетона де ла Барж выпирали наружу, душа тоже. А так как кожа у него лоснилась, то и душа его, вероятно, тоже оплыла жиром. Он был беззастенчив, спесив и, казалось, не боялся наскучить другим своим чванством. Г-н Бержере догадался, что этот человек пришел к нему просить о каком-нибудь одолжении.

Они познакомились еще в провинции. Профессор часто видел во время прогулок на зеленом откосе у берега ленивой реки черепичную крышу замка, в котором жил г-н де ла Барж со своей семьей. Значительно реже виделся он с самим г-ном де ла Барж, который вращался среди местной знати, но сам был недостаточно знатен, чтобы принимать незнатных людей. В провинции он входил в общение с г-ном Бержере только в критические дни, когда один из его сыновей должен был держать экзамен. На этот раз, в Париже, он хотел быть учтивым и прилагал к тому все усилия.

– Дорогой господин Бержере, считаю прежде всего непременно долгом поздравить...

– Ах, что вы, прошу вас... – отвечал г-н Бержере с уклончивым жестом, который г-н де ла Барж напрасно приписал его скромности.

– Позвольте, господин Бержере, но кафедра в Сорбонне – это очень завидное положение... и вполне заслуженное вами.

– Как поживает ваш сын Адемар? – спросил г-н Бержере, вспомнив это имя, носитель которого, кандидат в бакалавры, вынужден был за полной неуспеваемостью искать высокого покровительства всех властей – гражданских, духовных и военных.

– Адемар? Хорошо, очень хорошо. Немножко покучивает. Что вы хотите? Ему нечего делать. В некоторых отношениях было бы предпочтительнее, чтоб он чем-нибудь занялся. Но он еще очень молод. Время терпит. Он пошел в меня: остепенится, когда найдет свое призвание.

– Он, кажется, принимал некоторое участие в манифестации в Отейле? – сказал добродушно г-н Бержере.

– В честь армии, в честь армии, – ответил г-н Панетон де ла Барж. – И признаюсь вам, у меня не хватило духа пожуричь его за это. Что поделаешь? Я связан с армией через своего тестя, через свояков, через двоюродного брата, майора...

Он скромно не упомянул о своем отце, старшем из четырех братьев Панетон, который тоже был связан с армией, по интендантским делам. За

поставку сапог с картонными подошвами подвижным частям восточной армии, маршировавшим по снегу, он был приговорен в 1872 году судом исправительной полиции к легкому наказанию с порочащей мотивировкой. Он умер десять лет спустя среди богатства и почета в своем замке де ла Барж.

– Мне с детства прививали культ армии, – продолжал г-н Панетон де ла Барж. – Еще в младенчестве я обожал мундир. Такова была семейная традиция. Не скрываю, я человек старого режима. Это сильнее меня, это у меня в крови. Я прирожденный монархист, сторонник единовластия. Я роялист. Армия – это все, что осталось нам от монархии. Это единственное, что уцелело от славного прошлого. Она утешает нас в отношении настоящего и подает надежду на будущее.

Господин Бержере мог бы сделать несколько возражений исторического порядка, но он их не сделал, и г-н Панетон де ла Барж закончил:

– Вот почему я считаю преступниками тех, кто нападает на армию, безумцами тех, кто задевает ее.

– Желая похвалить одну из пьес Люса де Лансиваля, – ответил профессор, – Наполеон назвал ее трагедией штаб-квартиры. Позволю себе сказать, что ваша философия – это философия генерального штаба. Но поскольку мы живем при режиме свободы, то, может быть, следовало бы усвоить его нравы. Когда общаешься с людьми, привыкшими пользоваться даром речи, надо научиться выслушивать все. Не надейтесь на то, что отныне можно будет запретить во Франции обсуждение какого-нибудь вопроса. Примите также во внимание, что армия не есть нечто неизменное; на свете нет ничего неизменного. Все людские организации постоянно видоизменяются. За время своего существования армия испытала столько перемен, что ей, вероятно, суждено еще сильно измениться в будущем, и вполне возможно, что лет через двадцать она будет совсем другой, чем теперь.

– Предпочитаю вам тотчас же сказать, – возразил г-н Панетон де ла Барж, – когда дело касается армии, я не желаю ничего слушать. Повторяю, ее нельзя задевать. Она – секира. Не задевайте секиры. На последней сессии департаментского совета, председателем которого я имею честь состоять, радикал-социалистское меньшинство высказывалось за двухгодичный срок воинской повинности. Я воспротивился этому антипатриотическому предложению. Мне нетрудно было доказать, что двухгодичная служба – это конец армии. Нельзя в два года выработать пехотинца. А тем более кавалериста. Тех, кто требует двухгодичной

службы, вы, быть может, назовете реформаторами; я называю их разрушителями. И это относится ко всем подобным реформам. Это орудия, направленные против армии. Было бы честнее, если бы социалисты признались, что они хотят заменить ее большой национальной гвардией.

– Социалисты, восстающие против всяких захватнических попыток, – ответил г-н Бержере, – предлагают организовать милицию только в целях обороны страны. Они этого не скрывают; они открыто это высказывают. И эти идеи, быть может, заслуживают внимания... Не опасайтесь их быстрого претворения в жизнь. Всякий прогресс неустойчив и медлителен и по большей части сменяется движением вспять. Путь к лучшему порядку – это неопределенный и туманный путь. Несметные, глубоко укоренившиеся силы, связывающие человека с прошлым, побуждают его придерживаться заблуждений, предрассудков, суеверий и варварства, потому, что он видит в них драгоценный залог безопасности. Всякое благотворное новшество его пугает. Он – подражатель из осторожности и не осмеливается покинуть шатающийся кров, который служил пристанищем для его пращуров и грозит обрушиться на него. Разве вы с этим не согласны, господин Панетон? – добавил профессор с очаровательной улыбкой.

На это г-н Панетон де ла Барж ответил, что он защищает армию. Он утверждал, что армию не признают, преследуют, осыпают угрозами. И продолжал с возрастающим воодушевлением:

– Эта кампания в пользу предателя, эта настойчивая и яростная кампания ведет, независимо от намерений ее участников, к несомненным, явным и неоспоримым последствиям. Она ослабляет армию, она задевает авторитет ее руководителей. – Я выскажу вам сейчас несколько очень простых мыслей – ответил г-н Бержере. – Если армия задета в лице некоторых своих руководителей, то вина за это ложится не на тех, кто требует справедливости, а на тех, кто в ней отказывает; виноваты не те, кто хотел пролить свет на это дело, а те, кто с безграничной тупостью и жестокой злобой упорно этому противился. И, наконец, раз преступления совершены, то что заключается не в том, что их предали гласности, а в том, что они имели место. Их чудовищность и безобразие служили им завесой. Их трудно было распознать. Они проплыли над людскими массами, как темные тучи. Неужели вы думали, что эти тучи никогда не разорвутся? Неужели вы думали, что солнце больше не засияет над классической страной правосудия, над страной, которая была глашатаем права для Европы и вселенной?

– Не будем говорить о «Деле», – возразил г-н де ла Барж. – Я его не знаю и знать не хочу. Я не прочел ни строчки из материалов судебного

расследования. Мой двоюродный брат, майор де ла Барж, заверил меня, что Дрейфус виновен. Этого заверения с меня достаточно... Я пришел, дорогой господин Бержере, попросить у вас совета. Речь идет о моем сыне Адемаре, положение которого меня беспокоит. Год военной службы – это и то уже немалый срок для молодого человека из хорошей семьи. Но три года – это настоящая катастрофа. Надо найти какое-нибудь средство освободить его от этого. Я подумал о филологическом факультете; боюсь только, что сыну будет слишком трудно. Адемар развит, но у него нет склонности к литературе.

– Ну что ж! – сказал г-н Бержере, – попытайтесь устроить его в Высшую школу коммерческих наук или в Коммерческий институт, или же в Коммерческую школу. Не знаю, дает ли Школа часовщиков в Клузе право на освобождение. Мне говорили, что там нетрудно получить диплом.

– Но не может же Адемар чинить часы, – конфузливо заметил г-н де ла Барж.

– В таком случае обратитесь в Школу восточных языков, – участливо промолвил г-н Бержере. – Во времена ее основания там было превосходно поставлено дело.

– С тех пор она сильно сдала, – вздохнул г-н де ла Барж.

– Ну, найдется и там кое-что хорошее. Возьмите, например, тамульский язык.

– Тамульский! Вы думаете?

– Либо мальгашский.

– Пожалуй, мальгашский.

– Есть также один полинезийский язык, на котором в начале столетия говорила только одна желтолицая старуха. Эта женщина умерла, оставив попугая. Один немецкий ученый записал несколько слов этого наречия, так сказать, с клюва попугая. Он составил словарь. Возможно, что этот словарь изучают в Школе восточных языков. Очень советовал бы вашему сыну навести справки.

Получив такой совет, г-н Панетон де ла Барж откланялся и удалился в задумчивости.

VI

События пошли тем путем, каким и должны были пойти. Г-н Бержере искал квартиру; его сестра ее нашла. Так практический разум одержал победу над умозрительным. Надо признать, что мадемуазель Бержере сделала удачный выбор. У нее не было недостатка ни в жизненном опыте, ни в трезвом понимании житейских возможностей. В качестве учительницы она побывала в России и путешествовала по Европе. Она наблюдала разные нравы. Она знала мир, – это помогло ей узнать Париж.

– Вот здесь, – сказала она брату, останавливаясь перед новым домом, выходящим окнами в Люксембургский сад.

– Лестница прилична, но немного крута, – заметил г-н Бержере.

– Не говори этого, Люсьен. Ты еще достаточно молод, чтобы не утомляясь одолеть пять пустяковых этажей.

– Ты полагаешь? – ответил польщенный Люсьен.

Она не преминула также обратить его внимание на то, что ковер доходил до самого верха.

Г-н Бержере с улыбкой упрекнул ее в мелочном честолюбии.

– Впрочем, возможно, – добавил он, – что я сам был бы немного уязвлен, если бы ковер кончился этажом ниже моего. Стараешься быть мудрым, а в чем-нибудь да остаешься тщеславным. Это напомнило мне, что я видел вчера, после завтрака, проходя мимо одной церкви.

Ступени паперти были застланы красной дорожкой, помятой многолюдным свадебным шествием, покидавшим храм после бракосочетания. Какая-то скромная, бедная пара со своими скромными спутниками ждала очереди войти в церковь, когда удалится вся пышная свадьба. Они улыбались при мысли, что им предстоит взойти по ступеням, обтянутым этим неожиданным пурпуром. Молоденькая невеста даже ступила белыми башмачками на край дорожки. Но привратник жестом заставил ее сойти. Служители бюро свадебных церемоний медленно свернули почетную ткань, и только тогда, когда она превратилась в объемистый валик, скромной свадьбе было позволено подняться по голым ступеням. Я присмотрелся к славной компании, которую это происшествие, по-видимому, очень позабавило. Маленькие люди удивительно легко мирятся с социальным неравенством, и Ламенне вполне прав, утверждая, что общество целиком покоится на покорности бедняков.

– Пришли, – объявила мадемуазель Зоэ.

– Я совершенно запыхался, – сказал г-н Бержере.

– Потому что ты не переставал говорить, – ответила ему сестра. – Нельзя рассказывать всякие истории, подымаясь по лестнице.

– В конце концов, – сказал г-н Бержере, – судьба всех мудрецов жить под крышей. Наука и размышления по большей части ютятся на чердаке. И если как следует вдуматься, то нет такой мраморной галереи, которая стоила бы мансарды, украшенной высокими мыслями.

– Эта комната вовсе не мансарда, – заявила мадемуазель Бержере, – в ней прекрасное окно, которое дает много света. Ты устроишь здесь свой кабинет.

Услышав эти слова, г-н Бержере с ужасом окинул взором все четыре стены, и у него был вид человека, очутившегося на краю пропасти.

– Что с тобой? – с тревогой спросила мадемуазель Зоэ. Но он не ответил. Эта маленькая квадратная комната, оклеенная светлыми обоями, представилась ему омраченной тенями неведомого будущего. Он вступил в нее боязливymi и медленными шагами, словно проникал в темную обитель рока. И, вымеривая на полу место для письменного стола, он произнес:

– Я устроюсь здесь. Не следует проявлять такую чувствительность, представляя себе прошлое и грядущее. Это абстрактные идеи, которые прежде были чужды человеку и которые он усвоил с трудом и на свое несчастье. Идея прошлого сама по себе довольно мучительна. Полагаю, что никто не согласился бы снова начать жизнь, переживая все пройденные этапы. Бывают отрадные часы и дивные мгновения, – не стану отрицать. Но это жемчужины, драгоценные камни, скупо разбросанные по суровой и мрачной ткани наших дней. Поток лет, несмотря на краткость, течет с безотрадной медлительностью, и если иной раз сладостно предаваться воспоминаниям, то это потому, что мы можем сосредоточить свое внимание лишь на немногих моментах. Да и то такая отрада болезненна и печальна. А на мрачном лице будущего начертано столько угроз, что на него вообще страшно глядеть. И когда ты сказала мне, Зоэ: «Здесь будет твой кабинет», я увидел себя в будущем, а это невыносимое зрелище. Мне мнится, что я обладаю известным мужеством в жизни, но я человек, который размышляет, а размышление сильно вредит неустранимости.

– Самое трудное было найти квартиру с тремя спальнями, – сказала Зоэ.

– Несомненно, что человечество, – продолжал г-н Бержере, – в период своей юности имело другое представление о будущем и прошедшем, чем мы. А между тем эти пожирающие вас идеи не обладают реальностью вне нас. Мы ничего не знаем о жизни; ее эволюция во времени – чистейшая

иллюзия. И только благодаря несовершенству наших чувств «завтрашнее» не является нам таким же осуществленным, как «вчерашнее». Легко можно вообразить себе существа, которые, в силу своей организации, одновременно воспринимают явления, кажущиеся нам отделенными друг от друга значительным периодом времени. Да и сами мы не воспринимаем во временной последовательности явлений света и звука. Взглянув на небо, мы охватываем взглядом объекты далеко не одновременные. Мерцания звезд, сочетавшиеся в наших глазах, смешивают менее чем в секунду столетия и тысячелетия. Будь у нас другие органы, чем те, которыми мы обладаем, мы могли бы видеть себя мертвыми еще в разгаре нашей жизни. Ибо, если время фактически не существует и последовательность явлений только мираж, то все явления существуют одновременно, и нашему будущему не предстоит совершаться. Оно уже совершилось. Мы его только обнаруживаем. Понимаешь ли ты теперь, Зоэ, почему я оцепенел на пороге комнаты, где мне предстоит жить? Время – это только плод мысли. А пространство так же мало реально, как и время.

– Возможно, – сказала Зоэ. – Но в Париже пространство стоит очень дорого. Ты мог убедиться в этом, когда искал квартиру. Тебе, вероятно, не очень любопытно поглядеть на мою комнату. Пойдем! Комната Полины тебя больше заинтересует.

– Посмотрим и ту и другую, – ответил г-н Бержере, который покорно перемещал свое земное естество по квадратным комнатам, оклеенным обоями в цветочках.

При этом он не прерывал хода своих мыслей.

– Дикари, – сказал он, – не делают различия между настоящим, прошедшим и будущим. Язык, являющийся безусловно самым древним памятником человечества, позволяет нам проникнуть в эпохи, когда племена, от которых мы ведем свое происхождение, еще не проделали этой метафизической работы. Господин Мишель Бреаль в прекрасном исследовании, только что напечатанном, доказывает, что глагол, так разнообразно определяющий теперь выполненное действие, не имел первоначально никаких форм для выражения прошедшего и что для этого применяли удвоение настоящего.

Излагая эти мысли, г-н Бержере вернулся в свой будущий кабинет, пустое пространство которого показалось ему населенным тенями невыразимого будущего.

Мадемуазель Бержере открыла окно.

– Посмотри, Люсьен.

И г-н Бержере увидел обнаженные верхушки деревьев. Он улыбнулся.

– Эти черные ветки, – сказал он, – станут лиловыми под робкими лучами апрельского солнца; затем они вдруг опустятся нежной зеленью. И это будет прелестно. Зоэ, ты мудрая и добрая женщина, ты достойная домоправительница и любезнейшая сестра. Дай я тебя поцелую.

И, поцеловав свою сестру Зоэ, г-н Бержере добавил:

– Да, ты предобрая.

На это мадемуазель Зоэ ответила:

– Родители у нас были оба добрые.

Господин Бержере хотел вторично обнять сестру, но она сказала:

– Ты растреплешь мне прическу, Люсьен; я этого терпеть не могу.

Господин Бержере, глядя в окно, протянул руку:

– Видишь, Зоэ: на месте этих безобразных построек был Королевский питомник. Там, как рассказывали мне пожилые люди, аллеи переплетались лабиринтом среди кустарников и зеленых трельяжей. Там прогуливался в молодости отец. Он читал философию Канта и романы Жорж Санд, сидя на скамейке позади статуи Велледы. Погруженная в раздумье Велледа, обнимая руками свой мистический серп, стояла, скрестив ноги, которыми восхищалась воодушевленная благородными мыслями молодежь. У ее пьедестала студенты толковали о любви, о справедливости и свободе. В то время они еще не были сторонниками лжи, несправедливости и тирании. Империя уничтожила питомник. Она поступила дурно. Предметы обладают душой. Вместе с этим садом погибли и возвышенные мысли молодого поколения. Сколько красивых слов, сколько обширных надежд зародилось перед романтической Велледой, изваянной Мендроном! У наших студентов теперь дворцы с бюстом президента республики на камине актового зала. Кто возвратит им извилистые аллеи питомника, где они беседовали о способах установить мир, счастье и свободу на земле? Кто возвратит им сад, где, вдыхая весенний воздух, они повторяли под пение птиц благородные высказывания своих учителей Кине и Мишле!

– Безусловно, – сказала мадемуазель Бержере, – тогдашние студенты были восторженной молодежью. Но в конце концов они превратились в лекарей и нотариусов у себя в провинции. Надо мириться с заурядностью жизни. Ты сам отлично знаешь, что жить нелегко и нельзя к людям предъявлять слишком большие требования. Так ты доволен своей квартирой?

– Да. И я уверен, что Полина будет в восторге. У нее хорошая комната.

– Несомненно. Но молодые девушки никогда не бывают восторге.

– Полина не чувствует себя несчастной, живя с нами.

– Конечно, нет. Она очень счастлива. Но она этого не осознает.

– Я схожу на улицу Сен-Жак, – сказал г-н Бержере, – и закажу Рупару полки для кабинета.

VII

Господин Бержере любил и высоко ставил рабочих людей. Не производя у себя больших переделок, он не нанимал рабочих по несколько человек, но когда брал одного на работу, то старался завязать с ним беседу, рассчитывая узнать от него что-либо полезное.

А потому он был весьма обходителен со столяром Рупаром, который пришел однажды утром устанавливать полки в его кабинете.

В это время Рике, прикорнув, по своему обыкновению, в глубине хозяйского кресла, почивал мирным сном. Но неизгладимая память об опасностях, угрожавших их диким прадедам в лесах, придает чуткость сну домашних собак. Надо также сказать, что эта способность к внезапному пробуждению поддерживалась у Рике сознанием долга. Рике считал себя сторожевой собакой. Твердо убежденный в том, что в его обязанности входит охранять дом, он испытывал приятную гордость.

По несчастию, он представлял себе дома такими, как они бывают в деревнях и в баснях Лафонтена, с двором и садом, так что их можно обежать кругом, обнюхивая почву, пропитанную запахом скотины и навоза. В его голове не укладывался план квартиры, которую его хозяин занимал на шестом этаже доходного дома. Не зная границ своих владений, он не отдавал себе точного отчета в том, что он должен охранять. А Рике был свирепым сторожем. Полагая, что этот незнакомец в синих заплатанных штанах, пахнувший потом и тащивший доски, являлся угрозой для жилища, он соскочил с кресла и принялся лаять на пришельца, отступая перед ним с геройской медлительностью. Г-н Бержере приказал ему замолчать и он повиновался с сожалением, – удивленный и огорченный тем, что его преданность не оценили, а предостережениями пренебрегли. Его глубокий взгляд, обращенный к хозяину казалось, говорил:

– Ты соглашаешься принять этого анархиста вместе с его адской машиной, которую он волочит за собой. Я исполнил свой долг; будь, что будет.

Он вернулся на свое обычное место и снова задремал. Г-н Бержере, оторвавшись от толкователей Virгилия, вступил в беседу со столяром. Сперва он задал ему несколько вопросов относительно обделки, распилки, полировки дерева и сборки досок. Он любил поучаться и ценил меткость народных выражений.

– Есть еще, кажется, рубка в лапу? – спросил г-н Бержере.

– Это по-мужицки, так больше не работают, – ответил столяр.

Таким образом профессор поучался, слушая мастера. Покончив с частью работы, столяр повернулся к г-ну Бержере. Морщинистое лицо с крупными чертами, смуглый цвет кожи, прилипшие к вискам волосы и козлиная борода, посеревшая от пыли, придавали ему сходство с бронзовой фигурой. Он улыбнулся напряженной, ласковой улыбкой, обнажившей его белые зубы, и сразу как-то помолодел.

– А я вас знаю, господин Бержере.

– Вот как?

– Да, да, я вас знаю... Вы все-таки сделали, господин Бержере, такое, что не всякий сделает... Вы не осудите, если я вам скажу?

– Нисколько.

– Да, не всякий это сделает. Вы откололись от своей братии и не пошли за защитниками сабли и кропила.

– Ненавижу фальсификаторов, друг мой, – ответил г-н Бержере. – Это позволительно филологу. Я не скрывал своих взглядов. Но я их не очень и распространял. Откуда вы их знаете?

– Сейчас скажу, немало видишь всякого народа в мастерской на улице Сен-Жак. Видишь и таких и сяких, и толстых и тощих. Строгаю я как-то доски и слышу – Пьер говорит: «Эх, и каналья этот Бержере!». А Поль спрашивает: «Неужели ему не расквасят рожу?» Ну я и понял, что вы почестному смотрите на «Дело». Немного таких людей в вашем пятом районе.

– А что говорят ваши друзья?

– Социалистов тут кот наплакал, да и те промеж себя не согласны. В прошлую субботу собралась нас горсточка в «Социалке», четверо лысых и один плешивый, да и вцепились друг другу в волосы. Товарищ Флешье, стрелянный воробей, фронтовик семидесятого года, коммунар, отбывший ссылку, настоящий человек, взошел на трибуну и сказал нам: «Граждане, не шумите! Буржуи-интеллигенты такие же буржуи, как и военные. Пускай капиталисты грызутся между собой. Скрестите руки, не связывайтесь с антисемитами. Пока что они палят из картонных ружей и размахивают деревянными саблями. Но когда дело дойдет до экспроприации капиталистов, то не вижу, почему бы не начать с евреев». А товарищи давай хлопать в ладони. Но я вас спрашиваю: так, что ли, должен говорить старый коммунар, честный революционер? Я не такой грамотей, как гражданин Флешье; он всю пауку по книгам Маркса одолел. А тут он все же криво толкует, – я сразу смекнул. И я так думаю, что социализм – это истина, он же и справедливость, он же и благо и все справедливое и благое

от него родится, как яблоко от яблони. И еще я думаю, что бороться с несправедливостью – значит работать на нас, на пролетариев, на которых вся несправедливость валится. По-моему, все, что справедливо, то и ведет к социализму. Жорес так думал, и я так думаю; кто заодно с защитниками насилия и лжи, тот повернулся спиной к социальной революции. Для меня нет ни евреев, ни христиан, а есть только люди, и я не делаю между ними никакого иного различия, как то, что одни справедливы, а другие несправедливы. Будь он еврей, будь он христианин – богачу трудно быть справедливым. Но когда законы станут справедливыми, то и люди станут такими. Уже и теперь коллективисты и анархисты готовят будущее тем, что борются против тирании и внушают народам ненависть к войне и любовь к роду человеческому. Уже и теперь мы можем сделать кое-что хорошее. А это значит, что мы не умрем в отчаянии и со злобой в сердце. Конечно, мы не увидим торжества наших идей, и когда во всем мире установится коллективизм, меня уже задолго до того вынесут из моего чулана ногами вперед. Но я тут разболтался, а время бежит.

Он вынул часы и, увидав, что уже одиннадцать, надел куртку, собрал инструменты, глубоко нахлобучил картуз и сказал, не оборачиваясь:

– Ясно, буржуазия прогнила насквозь. Да и из дела Дрейфуса это видно.

И отправился завтракать.

Потому ли, что какое-то сновидение во время легкой дремоты вспугнуло отуманенную душу Рике, потому ли, что он пробудившись, подстерегал отступление врага, или же, как предположил его хозяин, его привело в ярость произнесенное имя, но домашний страж вдруг воспользовался преимуществами своего положения и ринулся с разверстой пастью, взъерошенной шерстью и огнемечущими глазами по следам Рупара, провозжая его бешеным лаем.

Оставшись один на один с Рике, г-н Бержере обратился к нему с ласковым и грустным увещанием:

– Ты тоже, бедное, крохотное, черное существо, такое слабое, несмотря на глубокую пасть и острые зубы, которые, напоминая о силе, выставляют твою слабость в смешном свете и делают твою трусость забавной, ты тоже поклоняешься земному величию и исповедуешь религию исконного неравенства. Ты тоже чтишь несправедливость из уважения к социальному порядку, обеспечивающему тебе твою конуру и овсянку. Ты тоже признал бы правильным незаконный приговор, опирающийся на ложь и обман. Ты тоже игрушка лживой видимости. Ты тоже бессилен перед соблазнами лжи. Ты питаешься грубыми баснями. Твой омраченный ум

упивается мраком. Тебя обманывают, и ты от всей души поддаешься обману. Ты тоже пропитан расовой ненавистью, жестокими предрассудками, презрением к несчастным.

И так как Рике обратил на него взгляд, обличавший глубокую невинность, г-н Бержере продолжал еще более ласково:

– Я знаю: ты обладаешь бессознательной добротой, добротой Калибана. Ты набожен, у тебя свое богословие и своя нравственность, ты уверен в своей правоте. И кроме того, ты пребываешь в неведении. Ты стережешь дом, стережешь его даже от тех, кто его защищает и украшает. Мастер, которого ты пытался прогнать, высказал в своей простоте прекраснейшие мысли. А ты его не слушал. Твои мохнатые уши слушают не того, кто вернее говорит, а того, кто громче кричит. И страх, природный страх, советник твоих и моих предков в пещерный период, страх, породивший богов и преступления, отвращает тебя от несчастных и отнимает у тебя жалость. И ты не хочешь быть справедливым. Ты глядишь на светлый лик Справедливости, словно он для тебя чужой, и пресмыкаешься перед старыми богами насилия и страха, такими же черномазыми, как ты сам. Ты преклоняешься перед грубой силой, так как считаешь ее силой верховной и не знаешь, что она сама себя пожирает. Ты не знаешь, что одна справедливая мысль в состоянии разорвать все оковы. Ты не знаешь, что истинная сила зиждется на мудрости и только ей нации обязаны своим величием. Ты не знаешь, что славу народов создают не дурацкие крики на городских площадях, а царственная мысль, которая ютится в мансарде и когда-нибудь, распространившись по свету изменит его облик. Ты не знаешь, что славу родины создают те, кто во имя справедливости претерпел заключение в тюрьме, изгнание и поругание... Ты этого не знаешь!

VIII

Господин Бержере беседовал у себя в кабинете со своим учеником г-ном Губеном.

– Я наткнулся сегодня, – сказал он, – в библиотеке моего друга на редкую и, быть может, даже уникальную книжечку. Потому ли, что Брюне ее не знал, или потому, что пренебрегал ею, он не упоминает о ней в своем «Справочнике!». Это маленький томик в двенадцатую долю листа, озаглавленный: «Описание людей и нравов стародавних времен». Он был напечатан на высокоумной улице Сен-Жак в тысячу пятьсот тридцать восьмом году.

– А кто автор? – спросил г-н Губен.

– Это некий сьер Николь Ланжелъе, парижанин, – ответил г-н Бержере. – Он пишет не так приятно, как Амио, но все же ясно и толково. Я с удовольствием прочитал его труд и списал оттуда одну весьма любопытную главу. Хотите ее послушать?

– Охотно, – ответил г-н Губен.

Господин Бержере взял со стола лист и прочел заглавие:

«О ТРУБЛИОНАХ, ОБЪЯВИВШИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕ».

Господин Губен осведомился, кто были эти трублионы. Г-н Бержере ему ответил, что, вероятно, он узнает об этом в дальнейшем и что всегда лучше ознакомиться с текстом, а потом его комментировать. Он прочел следующее:

«В ту пору появились в городе люди, испускавшие громкие крики, и получили те люди прозвание трублионы по имени некоего их вожака Трублиона, человека знатного родом, наукой не умудренного и по младости лет к делам не пригодного. И был у трублионов еще другой вожак, по имени Тинтиннабул, и он преизрядно витийствовал и отменно стихоплетствовал. Его прежалостно удалили из государства по закону и обычаю изгнания. И правду сказать, действовал вышеупомянутый Тинтинвабул во всем наперекор Трублиону. Коль один тянул вниз, другой тянул вверх. Но трублионы на это не смотрели, ибо были

безумцами не ведавшими, куда идут.

И проживал в те годы некий поселянин, по имени Робен медоточивый, уже совсем седой наподобие куницы либо барсука превеликий мастер в притворстве, который помышлял управлять городом о помощью тех трублионов, всячески их обхаживал и дабы привлечь их к себе, насвистывал им сладчайшим, как флейта, голосом, согласно обычаю пташников, что приманивают птиц на свистульку. Добрый же Тинтиннабул был тем ошеломлен и огорчен и крепко боялся, чтобы Робен Медоточивый не переманил у него его гусят.

При оных вожаках Трублионе, Тинтиннабуле и Робене Медоточивом состояли военачальниками в рати трублионской:

3 злоехидных клобучника,

21 марран,

свыше двух дюжин нищенствующих монахов,

8 альманащников,

55 мисоксенов, ксенофобов, ксеноктонов и ксенофагов, а кроме того шесть четвериков дворян, особливо приверженных к богومатери Бурдской, что в Наварре.

Так верховодили трублионами разные и меж собой несогласные водители. И были те трублионы истым змеиным отродьем, и подобно тому как Гарпии, о коих повествует нам Виргилиус, сидели на деревьях, преустрашительно кричали и гадила на все, что было под ними, так и означенные каверзные трублионы забирались на карнизы и шпили хором и церквей, дабы задирать, оглушать и обдавать фекалиями и уриной смиренных горожан.

Они нарочито избрали некоего старого полковника, по имени Гелгополь, самого никудышного вояку, какого могли сыскать, лютейшего врага всякой справедливости и попирателя высочайших законов, и, сотворив себе из него кумир и образец, стали ходить по городу и горланить: «Многие лета старому полковнику!» А вслед за ними школяры-лоботрясы визжали им в спину: «Многая лета старому полковнику!» Сходились оные трублионы на частые сходбища и сборища, на которых возглашали здравие старому полковнику столь велегласно, что воздух застывал, а птахи, летавшие над их головами, падали наземь оглушенные и умерщвленные. То было поистине гнусное наваждение и страшное беснование.

Полагали помянутые трублионы, будто для того, чтобы хорошо служить городу и удостоиться гражданского венца из дубовых листьев, самого почетного из всех венцов, надлежит изрыгать дикий рев и глупословные речи и что те, кто ходят за плугом, и те, кто косят и жнут, те, кто пасут стада и прививают черенки к своим грушевым деревьям в сей блаженной стране виноградников, пшеничных полей, зеленых лугов и плодовых садов, не служат городу, а равно не служит ему рабочий люд, обтесывающий камни и строящий в городах и деревнях дома с кровлями из красной черепицы и тонкого шифера, ни ткачи, ни стекольщики, ни каменоломы, корпящие в чреве Кибелы, ни те ученые мужи, что трудятся в своих замкнутых кабинетах и многокнижных библиотеках над познанием дивных тайн природы, ни матери, кормящие своих сосунков, ни добрейшая старушка, что сидит за прялкой у огня и рассказывает внучатам сказки, – а лишь они, трублионы, служат городу, ревя, как ослы на ярмарке.

А так как не было у них ничего, кроме тумана в голове и ветра во рту, то и орал трублионы изо всех сил во имя народного блага и общей пользы.

И не только кричали они: «Многая лета старому полковнику!», но кричали еще без устали о любви своей к городу. Тем самым наносили они превеликую обиду другим гражданам, давая им понять, что те, кто не кричат, не любят родного своего народа и сладостного места своего рождения. А сие есть ложь наглая и поношение нестерпимое, ибо люди с молоком матери всасывают эту естественную любовь, и всякому радостно вдыхать родной воздух.

Было же в ту пору в городе и округе немало добропорядочных и просвещенных людей, каковые любили свой город и государство более крепкой и чистой любовью, нежели помянутые трублионы. Ибо те добропорядочные люди хотели, чтобы город их остался таким же просвещенным, как они, чтобы цвел он красою и добродетелями, неся достоподобным образом в своей деснице золотой жезл, на который опирается рука Правосудия, и был бы он радостным, миролюбивым и свободным, а не грозным, мерзким и жалко подвластным старому полковнику Гелгополу и тому Тинтиннабулу, как этого хотели им наперекор оные трублионы, державшие в руках освященные

четки для бормотанья молитв и толстые дубины, чтобы дубасить добрых горожан. Ибо, в самом деле, вознамерились они подчинить город черноризцам, лицемерам, лжеправедникам, пустосвятам, очковтирателям, подзаборникам, юбочникам, оклобученным, окуколенным святошам, бритоголовым и босоногим, ханжам, панихидникам, христорадникам, обдувалам, присвоителям наследств, каковые там кишмя кишели и воровски завладели домами и лесами, полями и лугами, отхватив с добрую треть французской земли. И тщились они (означенные трублионы) придать всей стране вид грубый и неотесанный, ибо питали отвращение и омерзение к мышлению, философии, всякому доказательству, приведенному на основе здравого смысла и тонкого разума, и признавали одну только силу, да и то лишь тогда, когда была она самая скотская. Вот как любили они свой город И родину, эти трублионы...»

Читая, г-н Бержере намеренно не произносил всех лишних букв, которыми по моде эпохи Возрождения был наштигован этот старинный текст. Он чутко воспринимал красоту родного языка. К орфографии он относился с пренебрежением, не видя в ней особого смысла, но зато чтит старое произношение, такое легкое и плавное, к сожалению отяжелевшее в наши дни. Г-н Бержере читал текст, придерживаясь этой устной традиции. Его дикция возвращала старинным словам свежесть и новизну. И потому смысл их был ясен и прозрачен для г-на Губена, который обронил следующее замечание:

– Что мне нравится в этом отрывке, – так это язык. Он наивен.

– Вы находите? – отозвался г-н Бержере.

И он продолжал чтение:

«Трублионы говорили, будто защищают полковников и ратников города и государства, что было чистой издевкой и глумлением, ибо полковники и ратники, вооруженные множеством пищалей, мушкетов, пушкарских снарядов и иных прегрозных орудий, сами призваны защищать горожан, а не искать защиты у безоружных обывателей, да и трудно было себе представить, чтобы нашлись в городе такие безумцы, которые бы напали на собственных заступников, тем более, что добропорядочные люди, враждовавшие с трублионами, требовали лишь того, чтобы полковники с должным уважением

подчинялись чтимым и священным законам города и государства. Однако же помянутые трублионы продолжали кричать и не желали внимать голосу разума, ибо скупая природа лишила их разума.

Превеликую ненависть питали трублионы к чужеземным народам. При одном только имени тех народов или племен глаза у них пребезобразно лезли на лоб, словно у морских раков, и они махали руками, как мельницы крыльями. И не было среди них ни единого писаря или колбасного подмастерья, который бы не собирался послать вызов на поединок королю или королеве, или императору какого-нибудь большого государства, и самый последний шляпник или кабатчик хорохорился, как будто готов был во всякий час выйти на бранное поле. Однако же кончал тем, что сидел дома.

И поелику справедливо, что во все времена малоумные, более многочисленные, нежели разумные, сбегаются на суетное бряцание кимвалов, люди убогого знания и разума (коих находится немало и среди бедных и среди богатых) пришли к согласию с теми трублионами и трублионствовали вместе с ними. И пошла в городе такая страшная трескотня, что восседавшая в своем храме премудрая девственница Минерва, дабы не быть оглушенной этими кастрюльщиками и расходившимися попугаями, залепила себе уши воском, принесенным ей в дар ее многолюбивыми гиметскими пчелами, давая тем самым понять своим верноподданным, книжным людям, философам и добрым законодателям города, что напрасный труд вступать в ученый диспут и в состязание умов с этими трублионами, трублионствующими и тинтиннабульствующими. Некоторые в государстве, не из последних, оглушенные таким грохотаньем, полагали, что эти малоумные готовы низвергнуть государственный строй и перевернуть все вверх дном в благородном и славном городе, что было бы прежалостным событием. Но настал день, когда трублионы лопнули, потому что были надуты ветром...»

Господин Бержере положил лист на стол. Чтение кончилось.

– Эти старинные книги, – сказал он, – забавляют и развлекают ум. Они заставляют нас забывать о настоящем.

– Да, действительно, – ответил г-н Губен.

И он улыбнулся, что не входило в его обыкновение.

IX

Во время отпуска г-н Мазюр, департаментский архивариус, отправился на несколько дней в Париж, чтобы похлопотать в министерских канцеляриях о пожаловании ему ордена Почетного легиона, произвести исторические изыскания в Национальном архиве и побывать в Мулен-Руж. Прежде чем отдаться этим трудам, он навестил на другой день по приезде, около шести часов вечера, г-на Бержере, который радушно принял его. А так как дневная жара томила людей, вынужденных оставаться в городе под раскаленными крышами и на покрытых едкой пылью улицах, то г-ну Бержере пришла в голову удачная мысль: он повез г-на Мазюра в Булонский лес, в ресторанчик, где под деревьями на берегу неподвижного пруда были расставлены столики.

Там, под прохладной и мирной сенью листвы, вкушая изысканный обед, они вели непринужденную беседу, толкуя поцеременно о серьезной научной работе и о различных видах любви. Затем, без всякой преднамеренности, повинувшись неизбежному влечению, они заговорили о «Деле».

Господин Мазюр испытывал по этому поводу большую тревогу. Якобинец по убеждениям и по темпераменту, патриот в духе Барера и Сен-Жюста, он вдруг оказался в толпе националистов своего департамента и стал ораторствовать заодно со своими заклятыми врагами, роялистами и клерикалами, ссылаясь на высшие интересы родины, на единство и неделимость республики. Он даже вступил в лигу, возглавляемую Панетоном де ла Барж; но так как эта лига решила обратиться с петицией к королю, то он стал сомневаться в ее сочувствии республике и опасаться относительно ее принципов. Что же касается самого процесса, то, умея обращаться с текстами и направлять свою мысль при критических исследованиях средней трудности, он невольно совестился поддерживать систему этих фальсификаторов, которые, ради гибели невинного, проявили в изготовлении и подделке материалов невиданную до той поры беззастенчивость. Он чувствовал, что его окружает обман, но тем не менее не признавал, что ошибся. На такое признание способны только умы высшего порядка. А г-н Мазюр, напротив, утверждал, что он прав. Справедливо, однако, указать, что сплоченная масса сограждан окружала его, сжимала, стискивала, держала его в тесном кольце ложных представлений. Сведения о следственном материале и о спорах по поводу

документов еще не докатились до этого города, приятно раскинувшегося на зеленых откосах лениво текущей реки. В общественных и судебных учреждениях истину заслонял целый сонм политиканов и клерикалов, которых еще недавно г-н Мелин укрывал под фалдами своего деревенского сюртука и которые преуспевали теперь в сознательном пренебрежении правдой. Эта верхушка избранных поддерживала беззаконие ссылками на интересы родины, и религия и внушала к нему уважение всем, вплоть до радикал-социалиста аптекаря Мандара.

От проникновения даже самых достоверных сведений о фактах департамент был огражден тем надежнее, что во главе его стоял префект-еврей. Уже потому, что г-н Вормс-Клавлен сам был евреем, он считал себя обязанным служить интересам антисемитов подведомственного ему округа с большим рвением, чем любой префект-католик в подобном же случае. Быстрой и твердой рукой задушил он в департаменте зародившуюся партию сторонников пересмотра «Дела». Он оказал покровительство благочестивым лгунам и так усердно способствовал их процветанию, что граждане Франсис де Пресансе, Жан Псишари, Октав Мирбо и Пьер Кийар, прибывшие в город, чтобы высказать там свое независимое мнение, почувствовали себя так, словно попали в XVI столетие. Они нашли одних только изуверов-папистов, которые испускали кровожадные крики и непрочь были их уकोкошить. И так как г-н Вормс-Клавлен со времени приговора 1894 года убедился в невинности Дрейфуса, а после обеда, за сигарой, даже не делал из этого тайны, то националисты, сторону которых он держал, могли считать, что он, оказывая им помощь, проявляет образцовое беспристрастие.

Эта твердая позиция департамента, архивом которого он ведал, сильно импонировала г-ну Мазюру. Хотя он был пламенным якобинцем и личностью, способной на геройство, но, подобно полчищу героев, мог маршировать только под барабанный бой. Г-н Мазюр не был тупым животным. Делиться своими мыслями он считал своим долгом по отношению к себе и по отношению к другим. После супа, в ожидании форели, он облокотился о стол и сказал:

– Мой дорогой Бержере, я патриот и республиканец.

Виновен Дрейфус или невиновен, я не знаю, Я не хочу это знать, мне нет до этого дела. Но дрейфусары безусловно виновны. Высказав собственное мнение в противовес приговору республиканского правосудия, они совершили величайшую дерзость. Более того, они привели в волнение всю страну. От этого страдает торговля.

– Посмотрите, какая красивая женщина, – сказал г-н Бержере, –

высокая, статная, стройная, как молодое деревцо.

– Фу! – кукла, – отозвался г-н Мазюр.

– Это поверхностное суждение, – возразил г-н Бержере. – Живая кукла – это доказательство великого могущества природы.

– Не интересуюсь ни этой, ни другими женщинами, – сказал г-н Мазюр. – Может быть, потому, что моя жена хорошо сложена.

Так он говорил и старался этому верить. На самом же деле он был женат на старой служанке, сожительнице двух архивариусов, своих предшественников. В продолжение десяти лет буржуазное общество сторонилось ее. Но когда муж ее примкнул к националистским лигам департамента, перед ней тотчас же раскрылись двери лучших гостиных в городе. Генеральша Картье де Шальмо появлялась вместе с нею, а полковница Депотер была с нею неразлучна.

– Особенно я ставлю в вину дрейфусарам, что они ослабили, поколебали национальную оборону и уронили наш престиж за границей, – добавил г-н Мазюр.

Последние пурпурные лучи заката скользили между черными стволами деревьев. Г-н Бержере счел своим долгом ответить:

– Примите во внимание, мой дорогой, что если процесс какого-то безвестного капитана стал событием национального значения, то вина падает не на нас, а на министров, которые поддержали ошибочный и незаконный приговор и превратили это в принцип государственного управления. Если бы министр юстиции исполнил свой долг и приступил к пересмотру дела как только ему доказали необходимость этого, то частные лица не проронили бы ни слова. Они подняли свой голос в связи с плачевным бездействием суда. Что же взволновало страну, что же нанесло ей ущерб и внутри и вовне? А то, что власть упорно так как эта лига решила обратиться с петицией к королю, то он стал сомневаться в ее сочувствии республике и опасаться относительно ее принципов. Что же касается самого процесса, то, умея обращаться с текстами и направлять свою мысль при критических исследованиях средней трудности, он невольно совестился поддерживать систему этих фальсификаторов, которые, ради гибели невинного, проявили в изготовлении и подделке материалов невиданную до той поры беззастенчивость. Он чувствовал, что его окружает обман, но тем не менее не признавал, что ошибся. На такое признание способны только умы высшего порядка. А г-н Мазюр, напротив, утверждал, что он прав. Справедливо, однако, указать, что сплоченная масса сограждан окружала его, сжимала, стискивала, держала его в тесном кольце ложных представлений. Сведения о следственном материале и о

спорах по поводу документов еще не Докатились до этого города, приятно раскинувшегося на зеленых откосах лениво текущей реки. В общественных и судебных учреждениях истину заслонял целый сонм политиканов и клерикалов, которых еще недавно г-н Мелин укрывал под фалдами своего деревенского сюртука и которые преуспевали теперь в сознательном пренебрежении правдой. Эта верхушка избранных поддерживала беззаконие ссылками на интересы родины – и религия и внушала к нему уважение всем, вплоть до радикал-социалиста аптекаря Мандара.

От проникновения даже самых достоверных сведений о фактах департамент был огражден тем надежнее, что во главе его стоял префект-еврей. Уже потому, что г-н Вормс-Клавлен сам был евреем, он считал себя обязанным служить интересам антисемитов подведомственного ему округа с большим рвением, чем любой префект-католик в подобном же случае. Быстрой и твердой рукой задушил он в департаменте зародившуюся партию сторонников пересмотра «Дела». Он оказал покровительство благочестивым лгунам и так усердно способствовал их процветанию, что граждане Франсис де Пресансе, Жан Псишари, Октав Мирбо и Пьер Кийар, прибывшие в город, чтобы высказать там свое независимое мнение, почувствовали себя так, словно попали в XVI столетие. Они нашли одних только изуверов-папистов, которые испускали кровожадные крики и непрочь были их укокошить. И так как г-н Вормс-Клавлен со времени приговора 1894 года убедился в невинности Дрейфуса, а после обеда, за сигарой, даже не делал из этого тайны, то националисты, сторону которых он держал, могли считать, что он, оказывая им помощь, проявляет образцовое беспристрастие.

Эта твердая позиция департамента, архивом которого он ведал, сильно импонировала г-ну Мазюру. Хотя он был пламенным якобинцем и личностью, способной на геройство, но, подобно полчищу героев, мог маршировать только под барабанный бой. Г-н Мазюр не был тупым животным. Делиться своими мыслями он считал своим долгом по отношению к себе и по отношению к другим. После супа, в ожидании форели, он облокотился о стол и сказал:

– Мой дорогой Бержере, я патриот и республиканец. Виновен Дрейфус или невинновен, я не знаю. Я не хочу это знать, мне нет до этого дела. Но дрейфусары безусловно виновны. Высказав собственное мнение в противовес приговору республиканского правосудия, они совершили величайшую дерзость. Более того, они привели в волнение всю страну. От этого страдает торговля.

– Посмотрите, какая красивая женщина, – сказал г-н Бержере, –

высокая, статная, стройная, как молодое деревцо.

– Фу! – кукла, – отозвался г-н Мазюр.

– Это поверхностное суждение, – возразил г-н Бержере. – Живая кукла – это доказательство великого могущества природы.

– Не интересуюсь ни этой, ни другими женщинами, – сказал г-н Мазюр. – Может быть, потому, что моя жена хорошо сложена.

Так он говорил и старался этому верить. На самом же деле он был женат на старой служанке, сожительнице двух архивариусов, своих предшественников. В продолжение десяти лет буржуазное общество сторонилось ее. Но когда муж ее примкнул к националистским лигам департамента, перед ней тотчас же раскрылись двери лучших гостиных в городе. Генеральша Картье де Шальмо появлялась вместе с нею, а полковница Депотер была с нею неразлучна.

– Особенно я ставлю в вину дрейфусарам, что они ослабили, поколебали национальную оборону и уронили наш престиж за границей, – добавил г-н Мазюр.

Последние пурпурные лучи заката скользили между черными стволами деревьев. Г-н Бержере счел своим долгом ответить:

– Примите во внимание, мой дорогой, что если процесс какого-то безвестного капитана стал событием национального значения, то вина падает не на нас, а на министров, которые поддержали ошибочный и незаконный приговор и превратили это в принцип государственного управления. Если бы министр юстиции исполнил свой долг и приступил к пересмотру дела как только ему доказали необходимость этого, то частные лица не проронили бы ни слова. Они подняли свой голос в связи с плачевным бездействием суда. Что же взволновало страну что же нанесло ей ущерб и внутри и вовне? А то, что власть упорствовала, покровительствуя чудовищному беззаконию, разбухавшему с каждым днем благодаря лжи, которой силились его прикрыть.

– Но как же, по-вашему, я должен был отнестись к этому вопросу? – ответил г-н Мазюр. – Ведь я патриот и республиканец.

– Если вы республиканец, – сказал г-н Бержере, – то должны чувствовать себя чужим и одиноким среди своих сограждан. Во Франции осталось очень немного республиканцев. Республика не сумела их создать. Республиканцев создает абсолютизм. Любовь к свободе оттачивается на точильном камне монархии и цезаризма, а в стране свободной, или, вернее, воображающей себя свободной, она притупляется. Не в обычае у людей любить то, что у них есть. Да и по правде говоря, действительность не очень достойна любви. Надо обладать мудростью, чтобы ею

довольствоваться. Можно сказать, что сейчас во Франции нет республиканцев моложе пятидесяти лет.

– Но те, кто моложе, не монархисты.

– Нет, они не монархисты. Если люди часто и не любят того, что у них есть, так как то, что есть, часто недостойно любви, то, с другой стороны, они опасаются всяких перемен, поскольку перемены таят в себе неизвестность. Неизвестность пугает больше всего. Она вместительна и источник всех тревог. Это видно на всеобщем избирательном праве: бог весть, к чему приводило бы голосование, не будь этой боязни перед новшествами, которая налагает на него путы. В этом праве таится сила, способная творить чудеса добра или зла. Но страх перед неизвестностью, связанной с переменами, сдерживает его, и чудовище подставляет шею под недоуздок.

– Не прикажете ли персиков в мараскине? – спросил метрдотель.

Голос его звучал вкрадчиво и убедительное взгляд зорко скользил по расставленным столикам. Но г-н Бержере не ответил ему: он увидел на усыпанной песком дорожке даму в шляпе из рисовой соломы в стиле Людовика XVI, со множеством роз, и в белом муслиновом платье с свободным лифом, перехваченным на талии розовым поясом. Белый рюш, закрывая шею, топорщился наподобие крылышек у ее ангельской головки. Г-н Бержере узнал г-жу де Громанс, которая своим очаровательным видом уже не раз волновала его при встречах среди убийственного однообразия провинциальных улиц. Она пришла в сопровождении элегантного молодого человека, слишком корректного, чтобы не казаться скучающим.

Этот молодой человек остановился подле столика по соседству с тем, где сидели архивариус и профессор. Но г-жа де Громанс, оглядев ресторан, заметила г-на Бержере. Лицо ее выразило досаду, и она увлекла своего спутника подальше на лужайку, под тень большого дерева. При виде г-жи де Громанс г-н Бержере испытал ту жгучую сладость, которую внушает чувственным душам красота живых форм.

Он спросил у метрдотеля, знает ли он, кто этот господин и эта дама.

– Я знаю их и не знаю, – ответил метрдотель. – Они часто сюда приходят, но кто они – сказать не смогу. Мы видим столько народу! В субботу я подавал счета и туда, на траву, и сюда, под деревья, вплоть до живой изгороди, замыкающей лужайку.

– Вот как? Под все эти деревья? – сказал г-н Бержере.

– И на террасу и в беседку.

Господин Мазюр, занятый раскалыванием миндаля, не заметил белого муслинового платья. Он осведомился, о какой женщине идет речь. Но г-н

Бержере предпочел оставить за собой преимущество быть хранителем тайны г-жи де Громанс и ничего не ответил.

Тем временем спустилась ночь. На потемневшем газоне и под темной листвою свет, смягченный белой и розовой кружевной бумагой, выделял то здесь, то там столики ресторана и позволял различать зыбкие образы в ореоле лучей. В одном из этих уютных световых кругов пучок белых перышек на соломенной шляпке мало-помалу приближался к лоснящемуся черепу пожилого господина. В соседнем круге вырисовывались две молодые головки, более эфирные, чем ночные мотыльки, порхавшие вокруг. И все это довершала луна, выставляя на фоне побледневшего неба свой белый и круглый лик.

– Не прикажете ли подать еще что-нибудь? – осведомился метрдотель.

И, не дожидаясь ответа, озабоченно устремил дальше свои шаги.

А г-н Бержере сказал с улыбкой:

– Взгляните на этих людей, обедающих в благодетельном полумраке. На эти белые перышки и там, в глубине, под большим деревом – на розы, украшающие сооружение из рисовой соломки. Здесь пьют, едят, любят. А для этого человека все они только счета. У них есть инстинкты, желания, может быть даже мысли. И все это – счета. Какая сила духа и языка! Этот служитель чрева поистине велик.

– Мы очень приятно пообедали, – сказал, вставая из-за стола, г-н Мазюр. – Здесь чертовски шикарная публика.

– Все эти черты, вероятно, не очень крупного калибра, – возразил г-н Бержере. – Есть, впрочем, довольно франтоватые. Признаюсь, однако, что я с меньшим удовольствием смотрю на элегантных людей с тех пор, как некие махинаторы привели в движение дряблый фанатизм и легкомысленную жестокость бедных, крохотных умишек. «Дело» вскрыло нравственную болезнь, заразившую наше общество, – подобно тому, как вытяжка Коха определяет поражения, произведенные в организме туберкулезом. К счастью, под этой серебристой накипью есть бурные глубины человеческого океана. Но когда же, наконец, моя родина освободится от невежества и ненависти?

Вдова великого барона, мать маленького барона, баронесса де Бонмон, ласковая Элизабет, лишилась своего друга Рауля Марсьена при известных нам обстоятельствах. У нее было слишком доброе сердце, чтобы жить в одиночестве. Да это было бы и жаль. Случилось так, что в некую летнюю ночь между Булонским лесом и площадью Звезды она приобрела нового друга. Надлежит сообщить об этом событии личной жизни, ибо оно связано с общественными делами.

Баронесса де Бонмон, проведя июнь месяц в Монтеле, на берегу Луары, проезжала через Париж по дороге в Гмунден. Но дом ее был закрыт, и она поехала в Булонский лес пообедать в ресторане со своим братом бароном Вальштейном, с супругами де Громанс, г-ном де Термондром и юным Лакрисом, тоже находившимся проездом в Париже.

Все они принадлежали к хорошему обществу, а потому все были националистами. Барон Вальштейн не менее других. Австрийский еврей, обращенный в бегство венскими антисемитами, он обосновался во Франции, где финансировал крупную юдофобскую газету, и примостился под крыльшком церкви и армии. Г-н де Термондр, хундородный дворянин и захудалый помещик, проявлял ровно столько склонности к военщине и клерикализму, сколько нужно было, чтобы не отставать от высшей земельной аристократии, среди которой он вращался. Чета Громансов была слишком заинтересована в восстановлении монархии, чтобы не желать этого от всего сердца. Их денежные дела были в плачевном состоянии. Г-жа де Громанс, красивая, хорошо сложенная и располагавшая полной свободой в своих поступках, еще кое-как изворачивалась. Но Громанс, который уже не был молод и приближался к возрасту, когда люди нуждаются в покое, обеспеченности, уважении, вздыхал о лучших временах и с нетерпением ждал возвращения короля. Он твердо надеялся, что Филипп после реставрации пожалует ему звание пэра Франции. Это право на кресло в Люксембургском дворце он основывал на своей принадлежности к «присоединившимся» и причислял себя к республиканцам г-на Мелина, которых король будет вынужден оплачивать, чтобы привлечь их на свою сторону. Юный Лакрис был секретарем союза роялистской молодежи в том департаменте, где у баронессы были земли, а у Громансов долги.

Сидя под листвой вокруг накрытого столика, при свечах под розовым

абажуром, привлекавших бабочек, эти пятеро людей чувствовали себя спаянными одной и той же идеей, которую Жозеф Лакрис удачно выразил так:

– Надо спасти Францию!

То было время широких замыслов и крылатых надежд. Правда, монархисты потеряли президента Фора и министра Мелина, из которых первый во фраке, в бальных туфлях и гордый, как павлин, а второй в деревенском сюртучишке, в грубых, подбитых гвоздями башмаках и с семенящей походкой, старались загнать в гроб республику вместе с правосудием. Мелин лишился своего поста, а Фор лишился жизни в самый разгар успехов. Правда, похороны президента-националиста не дали того, чего от них ожидали, и попытка «похоронного переворота» кончилась провалом. Правда, после того, как продавили цилиндр президенту Лубе, социалисты помяли кулаками цилиндры господ из «Белой гвоздики» и из «Василька». Правда, сформировалось республиканское министерство и обеспечило себе большинство. На стороне реакции были духовенство, магистратура, армия, земельная аристократия, промышленность, коммерция, часть палаты и почти вся пресса. И, как правильно заметил юный Лакрис, если бы министр юстиции попытался произвести обыски в штаб-квартирах роялистских и антисемитских комитетов, он не нашел бы во всей Франции ни одного полицейского комиссара, для того чтобы конфисковать компрометирующие бумаги.

– Надо признать, – заметил г-н де Термондр, – что этот бедный Фор оказал нам немалые услуги.

– Он любил армию, – вздохнула г-жа де Бонмон.

– Несомненно, – ответил г-н де Термондр. – А кроме того он своими роскошествами приучил народ к монархии. После него король не покажется обременительным, а его выезды не вызовут насмешки.

Госпоже де Бонмон захотелось услышать подтверждение того, что король торжественно въедет в Париж в карете, запряженной шестью белыми лошадьми.

– Прошлым летом, проходя однажды по улице Лафайет, – продолжал г-н де Термондр, – я увидел вереницы остановившихся экипажей, группы полицейских в разных местах в шеренги прохожих вдоль тротуаров. Я спросил у какого-то, малого, что все это значит, и он ответил мне внушительно, что уже час как ожидают прибытия в Елисейский дворец президента, возвращающегося из Сен-Дени. Я стал присматриваться к этим почтительным ротозеям и к добрейшим буржуа, которые выжидательно и терпеливо сидели в остановившихся фиакрах, держа свертки в руках и

умиленно пренебрегая опозданием на поезд. И я с удовольствием убедился в том, что все эти люди покорно осваивались с нравами монархии и что парижане вполне готовы приветствовать своего государя.

– Париж уже больше не республиканский город. Все идет отлично, – подтвердил Жозеф Лакрис.

– Тем лучше, – сказала г-жа де Бонмон.

– А ваш батюшка разделяет эти надежды? – осведомился г-н де Громанс у молодого секретаря союза роялистской молодежи.

Он спросил это потому, что мнением мэтра Лакриса отнюдь не следовало пренебрегать. Мэтр Лакрис работал вместе с генеральным штабом и подготовлял реннский процесс. Он составлял для генералов текст их свидетельских показаний и репетировал с ними их выступления на суде. Его причисляли к националистским светилам адвокатуры, но подозревали, что он питает мало доверия к успешному исходу монархических заговоров. Старик в свое время работал на графа Шамбора и на графа Парижского. Он знал по опыту, что республику не так легко вышвырнуть за дверь и она не такая покладистая девица, какой выглядит. Он не доверял сенату. Но, недурно зарабатывая во Дворце правосудия, он примирился с тем, что ему приходится жить во Франции при условиях монархии без монарха. Он не разделял надежд своего сына Жозефа, однако был слишком терпим, чтобы осуждать пыл восторженной молодежи.

– Отец действует в своей сфере, я – в своей. Но цель у нас одна, – ответил Жозеф Лакрис.

И наклонившись к г-же де Бонмон, он добавил вполголоса:

– Мы сделаем свое дело во время реннского процесса.

– Помогай вам бог, – произнес г-н де Громанс со вздохом искреннего благочестия. – Пора спасать Францию.

Было очень жарко. Мороженое ели молча. Затем беседа возобновилась, но тусклая, неживленная, и вертелась вокруг личных дел и банальных тем. Г-жа де Громанс и г-жа де Бонкон завели речь о туалетах.

– Говорят, что в зимнем сезоне будут носить платья «простушка», – сказала г-жа де Громанс, глядя на баронессу и не без удовольствия представляя себе ее талию, отяжеленную пышной юбкой.

– Вы ни за что не угадаете, где я сегодня был, – сказал г-н де Громанс. – Я был в сенате. Заседания не было. Лапра-Теле показал мне дворец. Я видел все, залу, галерею бюстов, библиотеку. Это прекрасное здание.

Но он не поведал ничего о том, что в амфитеатре, где должны были заседать пэры после реставрации короля, он ощупал бархатные кресла и

выбрал для себя место в центре. А перед уходом он спросил у Лапра-Теле, где помещается касса. Этот осмотр палаты будущих пэров снова оживил его вождения. Он с полной искренностью повторил:

– Спасем Францию, господин Лакрис! Спасем Францию! Время пришло.

Лакрис брался за это. Говорил он очень уверенно и прикинулся большим конспиратором. Он уверял, что все готово. Придется, вероятно, раздробить скулы префекту Вормс-Клавлену и двум-трем другим дрейфу сэрам в его департаменте. И он добавил, проглотив кусок засахаренного персика:

– Все совершится само собой.

Тогда заговорил барон Вальштейн. Он говорил долго, дал почувствовать, что прекрасно во всем ориентируется, сделал кое-какие предложения и рассказал несколько венских анекдотов, казавшихся ему забавными. Под конец он добавил с неистребимым венским акцентом:

– Все это очень хорошо, все очень хорошо. Но надо признать, что вы промахнулись на похоронах президента Фора. Если я так говорю, то потому, что я вам друг. Не делайте второй такой ошибки, – иначе за вами больше никто не пойдет.

Он взглянул на свои часы и, увидев, что едва поспеет в Оперу до окончания спектакля, зажег сигару и встал из-за стола.

Жозеф Лакрис был сдержан; к этому его обязывало положение конспиратора. Но, с другой стороны, он охотно подчеркивал свое могущество и влияние. А потому он извлек из кармана синий сафьяновый бумажник, который носил на груди у самого сердца, вынул оттуда письмо и, передав его г-же де Бонмон, сказал с улыбкой:

– Пусть делают обыск в моей квартире. Я все ношу с собой.

Госпожа де Бонмон взяла письмо, прочла его про себя и, порозовев от почтительного волнения, отдала его слегка дрожащей рукой Жозефу Лакрису. А когда это августейшее письмо, вернувшись в синий сафьяновый бумажник, заняло свое место на груди секретаря союза роялистской молодежи, баронесса Элизабет направила на эту грудь долгий, увлажненный слезами, пылающий взгляд. Юный Лакрис представился ей внезапно в сиянии героической красоты.

Сырость, и прохлада ночи понемногу пронизывали сотрапезников, засидевшихся под деревьями ресторана. Розовые огни, озарявшие цветы и бокалы, угасали один за другим на осиротевших столиках. По просьбе г-жи де Громанс и баронессы Жозеф Лакрис вторично достал из бумажника письмо короля и прочел приглушенным, но внятным голосом:

«Дорогой Жозеф!

Весьма рад патриотическому воодушевлению, которое наши друзья проявили под вашим влиянием. Я видел П. Д. Он настроен бодро.

Всегда к Вам благосклонный

Филипп».

Прочитав это письмо, Жозеф Лакрис вложил его обратно в синий сафьяновый бумажник, который покоился у него на груди под белой гвоздикой, украшавшей его петлицу.

Господин де Громанс пробормотал несколько одобрительных слов:

– Прекрасно! Так должен говорить глава, настоящий глава.

– Я того же мнения, – отозвался Жозеф Лакрис. – Истинная радость исполнять распоряжения такого доверителя.

– И какой сжатый язык, – продолжал г-н де Громанс. – Герцог Орлеанский словно унаследовал тайну эпистолярного стиля у графа Шамбора. Вам, сударыня, конечно, неизвестно, что никто на свете не писал таких бесподобных писем, как граф Шамбор. Он мастерски владел пером. Совершенно бесспорно, что письма ему особенно удавались. Что-то напоминающее его импозантную манеру есть и в записке, которую нам только что прочитал господин Лакрис. Пожалуй, у герцога Орлеанского даже больше живости, больше юношеского пыла... Какая великолепная внешность у этого молодого принца! Настоящий сын Марса и истый француз! Он привлекает, он пленяет. Меня уверяли, что он почти популярен в предместьях, – ему там дали прозвище Солдатский Котелок.

– Да, массы все больше и больше склоняются на его сторону, – сказал Лакрис. – Булавки для галстуков с изображением короля, которые мы обильно раздаем, начинают проникать на заводы и в мастерские. У короля больше здравого смысла, чем принято думать. Мы приближаемся к цели.

Господин де Громанс ответил благожелательным и авторитетным тоном;

– При таком рвении, такой осторожности и преданности, как у вас, господин Лакрис, можно питать любые надежды. И я убежден, что вы добьетесь победы, не вызывая слишком много жертв. Ваши противники сами толпами придут к вам. Причастность к партии «присоединившихся» не мешала г-ну Громансу желать восстановления, монархии, но, и, не позволяла открыто одобрять те насильственные мероприятия, которые

предлагал Жозеф Лакрис за десертом. Г-н де Громанс, посещавший балы префектуры и флиртовавший с г-жой Вормс-Клавлен, деликатно хранил молчание, когда молодой секретарь союза роялистской молодежи высказался за необходимость расправиться с жидовским префектом, но приличие отнюдь не препятствовало ему хвалить письмо принца и дать понять, что он готов на любые жертвы для спасения страны.

Господин де Термондр отличался не меньшим патриотизмом и с не меньшим удовольствием смаковал слог Филиппа. Но, завзятый собиратель редкостей и ярый любитель автографов, он прежде всего подумал о том, как бы ему заполучить у юного Лакриса королевское письмо – в обмен ли, даром ли, или, так сказать, заимобразно. Он раздобыл такими способами письма некоторых лиц, замешанных в процессе Дрейфуса, и составил интересное собрание. Теперь он подумывал о том, чтобы собрать коллекцию материалов о «Заговоре» и включить в нее в качестве наиболее ценного документа письмо принца. Он сознавал, что дело будет нелегким, и весь погрузился в обдумывание своего замысла.

– Приезжайте ко мне, господин Лакрис, – сказал он, – приезжайте ко мне в Нейи: я пробуду там еще несколько дней. Я покажу вам любопытные автографы, и мы еще поговорим об этом письме.

Госпожа де Громанс выслушала с должным вниманием записку короля. Она была светской дамой. Ей очень хорошо было известно, к чему обязывает этикет в отношении августейших особ. Она склонила голову при словах, начертанных Филиппом, как сделала бы реверанс, если бы имела честь присутствовать при церемониальном выходе короля, шествующего в обеденный зал. Но она не испытывала ни энтузиазма, ни благоговения. А кроме того, она доподлинно знала, что представляют собой подобные августейшие особы. Она видела на самом близком расстоянии одного из родичей герцога. Это случилось однажды днем в укромном доме близ Елисейских полей. Сказали друг другу все, что можно было сказать, но свидание не имело продолжения. Его высочество был корректен, однако не проявил широты натуры. Безусловно, она оценила оказанную ей честь, но не видела в этой чести ничего из ряда вон выходящего. Она уважала принцев; она любила их при случае, но не мечтала о них. И письмо не вызвало в ней никакого волнения. Что же касается юного Лакриса, то в ее симпатии к нему не было ничего пылкого или захватывающего. Она понимала, одобряла этого маленького русого молодого человека, немного щуплого, довольно милого, который не был богат и выбивался да сил, чтобы свести концы с концами и придать себе весу. Она знала из личного опыта, что нелегко вести широкую жизнь при небольших средствах. Оба

они подвизались в высшем обществе. Это могло служить поводом для доброго согласия. Помочь друг другу при случае, – с удовольствием! Но и только.

– Поздравляю, господин Лакрис! Примите мои наилучшие пожелания, – сказала она.

Насколько чувства баронессы Элизабет были рыцарственнее и нежнее! Ласковая венка всем сердцем отдалась элегантному заговору, которому служила эмблемой белая гвоздика. Она к тому же так обожала цветы. Причастность к заговору дворян в пользу короля давала ей возможность войти и окупаться в общество родовитого французского дворянства, проникнуть в самые аристократические гостиные и вскоре, быть может, попасть ко двору. Она была растрогана, восхищена, смущена. Но нежность преобладала в ней над честолюбием; со всею искренностью своего легко распахивающегося сердца она уловила поэзию в письме принца. И она простодушно высказала то, что думала:

– Господин Лакрис, это письмо поэтично.

– Да, верно, – подтвердил Жозеф Лакрис.

И они обменялись долгим взглядом.

Ничего достопамятного не было произнесено больше в ту летнюю ночь за маленьким столиком ресторана, уставленным свечками и цветами.

Настал час разъезда. После того, как баронесса встала из-за стола и Жозеф Лакрис накинул на ее пышные плечи мантию, она протянула руку г-ну де Термондру, который прощался со всеми. Он решил идти пешком в Нейи, где временно снимал квартиру.

– Это совсем близко отсюда, всего в пятистах шагах. Уверен, сударыня, что вы не знаете Нейи. Я открыл в Сен-Жаме остатки старинного парка с группой Лемуана в решетчатой беседке. Надо вам как-нибудь ее показать.

И его рослая, коренастая фигура тотчас же углубилась в аллею, залитую синим светом луны.

Баронесса предложила Громансам отвезти их домой в клубной карете, которую прислал за ней ее брат Вальштейн.

– Садитесь, мы вполне уместимся втроем.

Но Громансы были люди тактичные. Они крикнули фиакр, стоявший у решетки ресторана, и так быстро юркнули в коляску, что баронесса не успела их удержать. Она осталась одна с Жозефом Лакрисом перед открытой дверцей экипажа.

– Довезти вас, господин Лакрис?

– Боюсь вас стеснить.

– Нисколько, Где вас ссадить?

– На Площади Звезды.

Они покатали среди безмолвия ночи по голубой дороге, окаймленной зеленью деревьев... И неизбежное свершилось.

Когда карета остановилась, баронесса спросила тихим голосом, будто очнувшись от сна:

– Где мы?

– Увы, уже на площади, – ответил Жозеф Лакрис.

Он сошел, а баронесса поехала в одиночестве по проспекту Монсо в похолодевшей карете, держа помятую белую гвоздику в руках без перчаток, с полузакрытыми веками и полуоткрытыми губами. Она все еще трепетала от жгучих и нежных объятий, которые, приближая к ее груди королевское письмо, слили в ее душе сладость любви с гордостью славы. Она испытывала сознание, что это письмо приобщило ее интимное приключение к национальному величию и к многославной истории Франции.

Это происходило на улице Бэри, в глубине двора, в квартирке на антресолях, куда с трудом проникал свет, такой же унылый, как и камни, по которым он скользил. Сын герцога Жана, Анри де Бресе, председатель исполнительного комитета, сидя за своим бюро, превращал на листе белой бумаги чернильную кляксу в аэростат, пририсовывая к ней сетку, канаты и гондолу. Позади него на стене висела большая фотография принца, который выглядел на ней молодым, но очень дряблым, разбухшим и вульгарно торжественным. Портрет окружали трехцветные знамена с геральдическими лилиями. По углам комнаты стояли развернутые флаги с золотыми эмблемами и монархическими девизами, вышитыми ванзейскими и бретонскими дамами. В глубине комнаты на панели развешаны были кавалерийские сабли с картонной полоской, на которой красовалась надпись: «Да здравствует армия!» Под ними – прищипленное булавами карикатурное изображение Жозефа Рейнака в виде гориллы. Всю обстановку этой комнаты, одновременно интимной и административной, составляли конторский шкаф в несгораемая касса, вместе с диваном, четырьмя стульями и бюро черного дерева. Вдоль стен были навалены кипы пропагандистских брошюр.

Жозеф Лакрис, секретарь департаментского комитета союза роялистской молодежи, стоя у камина, молча проверял членские списки. Сидя верхом на стуле, устремив взгляд в одну точку и морща лоб, Анри Леон, вице-председатель юго-западных роялистских комитетов, развивал свои взгляды. Он слыл за дерзкого и брюзгливого человека, видевшего все в мрачном свете. Но его наследственные финансовые способности придавали ему вес в глазах сообщников. Он был сыном Леон-Леона, банкира испанских Бурбонов, обанкротившегося во время краха «Всеобщего объединения».

– Нас теснят; что ни говорите, а нас теснят. Я чувствую это с каждым днем. Тиски сжимаются. При Мелине нам было где развернуться, нам было приволье, полное приволье. Мы чувствовали себя свободно, и никто нас не стеснял.

Он раздвинул локти и сделал жест проталкивающегося вперед человека, как бы для того, чтобы дать представление о той легкости, с которой можно было двигаться в счастливые, ныне отошедшие времена. И он продолжал:

– При Мелине у нас было все. Мы, роялисты, пользовались поддержкой правительства, армии, суда, администрации, полиции.

– У нас и теперь есть все это, – возразил Анри де Бресе. – А общественное мнение более чем когда-либо стоит за нас, с тех пор как министры потеряли популярность.

– Нет, теперь совсем не то. При Мелине мы были официозной организацией, державшей сторону правительства и консервативной. Самое благоприятное положение для устройства заговоров. Не заблуждайтесь: француз в массе консервативен. Он домосед. Переезды его пугают. Мелин оказал нам крупнейшую услугу: он придал нам безвредный вид, безобидный вид, – да, безобидный, такой же, как у него самого. Он утверждал, что республиканцы – это мы, и народ верил ему. Глядя на его лицо, нельзя было заподозрить, что он шутит. Он способствовал тому, что общественное мнение нас признало. Услуга не маленькая!

– Мелин был порядочным человеком! – вздохнул Анри де Бресе. – Надо отдать ему справедливость.

– Это был патриот, – сказал Жозеф Лакрис.

– При этом министре, – продолжал Анри Леон, – у нас было все, мы представляли собой все, нам было доступно все. Нам даже не к чему было скрываться. Мы не стояли вне республики, мы стояли над ней. Мы господствовали над ней с высоты нашего патриотизма. Мы были всем, мы были Францией. Я не питаю нежных чувств к этой потаскушке-республике, но надо признать, она бывает порой славной девчонкой. При Мелине полиция была чудесна, просто пленительна. Во время роялистской манифестации, которую вы, Бресе, премило организовали, я кричал до хрипоты: «Да здравствует полиция!» И кричал от чистого сердца. Полицейские с увлечением дубасили республиканцев!.. Жиро-Ришара упрятали в кутузку за то, что он крикнул: «Да здравствует республика!» Мелин устроил нам слишком райскую жизнь. Ну, прямо добрая нянюшка! Он нас баюкал, он вас укачивал. Да, да, сам генерал Декюир сказал: «Раз у нас есть все, чего мы желаем, то зачем нам громить лавчонку с риском опозориться!» О, блаженные времена! Мелин водил хоровод. Националисты, монархисты, антисемиты, плебисцитники, все мы дружно плясали под его деревенскую скрипку. Все – поселяне! Все – блаженные! Уже при Дюпюи я был менее доволен; при нем дело шло не так открыто. Мы были не так спокойны. Безусловно, он не желал нам зла. Но его нельзя было назвать настоящим другом. Это уже не был добрейший деревенский скрипач, который заправлял свадебным хороводом. Это был толстый извозчик, который тряс нас напропалую в своей коляске. Вез он ни так, ни

сяк, то и дело застревая – вот-вот опрокинет. Рука у него была неловкая. Вы скажете, что он притворился ротозеем. Но притворное ротозейство сильно смахивает на настоящее. А кроме того, он сам не знал, куда везти. Бывают такие трепалы-извозчики, которые не знают вашей улицы и тащат вас без конца и края по невозможным дорогам, хитро прищуривая глаз. Это действует на нервы!

– Я не защищаю Дюпюи, – сказал Анри де Бресе.

– А я вовсе не нападаю на него; я рассматриваю его, изучаю, определяю. Я не ненавижу его. Он оказал нам большую услугу. Не надо это забывать. Без него нас бы уже упрятали под замок. После провала на похоронах Фора в великий день параллельного выступления наша песенка была бы уж спета, милые мои ягнятки.

– Не нас он щадил, – отозвался Жозеф Лакрис, уткнувшись носом в список.

– Знаю. Он сразу понял, что ничего не может нам сделать, что тут замешаны генералы, что заварилась слишком густая каша. Тем не менее мы должны поставить ему толстую свечу.

– Ба! – сказал Анри де Бресе. – Нас так же оправдали бы, как Деруледа.

– Возможно. Но он дал вам помаленьку оправиться после похоронной катастрофы, и, признаюсь, я ему благодарен за это. С другой стороны, он нас сильно подвел, хотя, вероятно, невольно и без злобных намерений. Вдруг, в самый неожиданный момент, этот толстяк сделал вид, что мечет против нас грома и молнии. Знаю, что положение дел обязывало его. Знаю, что это не было всерьез. Но создалось дурное впечатление. Я опять и опять повторяю вам: наша страна консервативна. Дюпюи не говорил, как Мелин, что консерваторы – это мы, что республиканцы – это мы. Да если б он и сказал, ему бы никто не поверил. Ему никогда не верили. Во время его министерства мы отчасти утратили наш авторитет в стране. Нас перестали считать безвредными. Мы внушили тревогу записным республиканцам. Это было почетно, но опасно. Дела наши обстояли хуже при Дюшои, чем при Мелине; они еще хуже при Вальдек-Руссо, чем были при Дюпюи. Такова правда, горькая правда.

– Несомненно, – возразил Анри де Бресе, покручивая ус, – совершенно несомненно, что министерство Вальдека – Мильерана питает дурные намерения; но, повторяю, оно непопулярно, оно не продержится.

– Оно непопулярно, – продолжал Анри Леон, – но уверены ли вы в том, что они не продержатся достаточно долго, чтобы нам повредить? непопулярные правительства держатся столь же долго, как и другие.

Прежде всего, популярных правительств вообще не бывает. Править – значит возбуждать недовольство. Мы здесь между своими, нам незачем умышленно говорить всякие глупости. Неужели вы думаете, что мы будем популярны, когда станем правительством? Неужели вы думаете, Бресе, что народ заплачет от умиления, глядя на ваш камергерский мундир с ключом у поясицы? А вы, Лакрис, неужели вы полагаете, что, когда будете префектом полиции, предместья в день стачки встретят вас триумфальными кликами? Взгляните в зеркало и скажите сами, похожи ли вы на народного кумира! Незачем обманывать самих себя. Мы говорим, что правительство Вальдека состоит из идиотов. Вполне разумно так говорить. Но неразумно в это верить.

– Для нас утешительно то, что правительство слабо и ему не будут повиноваться, – заметил Жозеф Лакрис.

– У нас уж давненько слабые правительства, – сказал Анри Леон. – А все они нас били.

– У правительства Вальдека нет ни одного надежного комиссара, – возразил Жозеф Лакрис. – Ни одного!

– Тем лучше, – сказал Анри Леон, – потому что одного было бы достаточно, чтобы сцапать всех нас троих. Говорю вам, тиски сжимаются. Поразмыслите над изречением философа, оно того стоит: «Республиканцы плохо управляют, но хорошо обороняются».

Между тем Анри де Бресе, склонившись над бюро, превращал вторую чернильную кляксу в жука, пририсовывая к ней голову, два усика и шесть лапок. Он остался доволен своим произведением, поднял голову и сказал:

– У нас еще есть недурные козыри в нашей игре: армия, духовенство...

Анри Леон прервал его:

– Армия, духовенство, суд, буржуазия, молодцы из мясной, словом, весь удешевленный воскресный поезд... И он катит... и будет катить, пока машинист его не остановит.

– Ах! – вздохнул Жозеф. – Если бы Фор был еще президентом...

– Феликс Фор, – продолжал Анри Леон, – держал нашу сторону из тщеславия. Он был националистом, чтобы охотиться у Бресе. Но он обрушился бы на нас, как только бы увидел, что у нас есть шансы победить. Восстановление монархии было не в его интересах. И действительно, какого чорта! Что бы дала ему монархия? Мы ведь не могли бы предоставить ему шпагу коннетабля. Пожалеем о нем: он любил армию; всплачем о нем, но не будем безутешны из-за этой утраты. А кроме того, он не был машинистом. Лубе тоже не машинист. Ни один президент республики, каким бы он ни был, не управляет паровозом. Самое ужасное,

друзья мои, то, что ведет республиканский поезд лишь призрак машиниста. Его не видно, а локомотив катит. Вот что меня положительно путает!

– Есть еще и другое, – продолжал Анри Леон. – Это всеобщая тряпичность. Приведу вам по этому поводу глубокомысленное изречение гражданина Бисоло. Это было тогда, когда мы устраивали вместе с антисемитами внезапные манифестации против Лубе. Наши банды проходили по бульварам с криком: «Панама! В отставку! Да здравствует армия!» Было чудесно. Малыш Понтье и оба сына генерала Декюира шли впереди, – восемь бликов на цилиндре, белые гвоздики в петлицах, в руках тросточки с золотым набалдашником. А цвет роялистских молодчиков составлял колонну. Охотников было много: плата хорошая, а риска никакого. Их заела бы досада, если б они упустили такой праздничек. Зато какие глотки, какие кулаки, какие дубинки!

Контрманифестация не заставила себя ждать. Отряды, менее многочисленные и менее блестящие, чем наши, но все же решительные и закаленные, двигались нам навстречу с криком: «Да здравствует республика! Долой попов!»

Изредка из рядов противников раздавался выкрик: «Да здравствует Лубе!», выкрик, как бы сам удивлявшийся тому, что огласил воздух. Именно этот необычный клич, прежде чем замереть, возбуждал озлобление полицейских, которые как раз в этот час выстраивались шеренгой вдоль бульвара, подобно мрачному бордюру из черной шерсти на цветистом ковре. Но вскоре этот бордюр по собственному почину ринулся на авангард контрманифестации, которую другой отряд полицейских уже обрабатывал с хвоста. Таким образом полиции быстро удалось разнести в клочки приверженцев господина Лубе и уволочь неузнаваемые остатки в роковые глубины мэрии на улице Друо. Таков был распорядок этих беспокойных дней. Находился ли господин Лубе, сидя в своем Елисейском дворце, в неведении относительно приемов, какие пускала в ход его полиция, чтобы поддержать на бульварах авторитет главы государства? Или, осведомленный о них, он не мог, не хотел ничего изменять? Не знаю. Понял ли он, что даже сама его непопулярность, несмотря на прочность и непоколебимость, почти что рассеивалась, испарялась при этом приятном и необычайном зрелище, ежевечерне предлагаемом остроумному народу? Не думаю. Ибо в таком случае этот человек был бы страшен: он был бы гениален, и я больше не верил бы, что буду спать этой зимой в Елисейском дворце, на пороге королевского покоя. Нет, я думаю, что и на сей раз, к счастью для себя, он был бессилен что-либо предпринять. Во всяком случае несомненно, что полицейские, действуя совершенно инстинктивно,

усердствуя как бы по наитию и внушая симпатию к репрессиям, окружили вступление президента на его пост некоторой атмосферой народной радости, которой оно было совершенно лишено. Тем самым, если вдуматься, они причинили нам больше зла, чем добра, так как успокоили публику, тогда как в наших интересах было усилить всеобщее недовольство.

Как бы то ни было, а в одну из последних ночей этой знаменательной недели, когда намеченный маневр выполнялся со всею точностью и контрманифестация оказалась атакованной с фронта и тыла полицией, а с фланга нами, я увидел, как гражданин Бисоло отделился от авангарда елисейцев, находившегося под угрозой, и огромными шагами, судорожно корчась всем своим крохотным телом, перемахнул на угол улицы Друо, где я стоял в то время с дюжиной королевских молодчиков, кричавших по моей команде: «Панама! В отставку!» Уютное местечко. Я отбивал такт, а моя команда отчеканивала по слогам: «Па-на-ма!» Это было аранжировано поистине со вкусом. Бисоло прикорнул у моих ног. Он меня меньше боялся, чем шпики, и был прав. В течение двух лет гражданин Бисоло и я сталкивались лицом, к лицу на всех манифестациях при входе и выходе на собраниях, во главе всех шествий. Мы обменялись всеми политическими ругательствами: «Скуфейник наймит, поддельщик, предатель, убийца, враг родины!» Это сближает, порождает взаимную симпатию. А кроме того, меня забавляло, что социалист, почти анархист, вступает за Лубе, который скорее принадлежит к умеренным. Я подумал: «А президент-то, наверно, здорово сердится, что его прославляет этот Бисоло, карлик с громовым голосом, требующий на публичных собраниях национализации капитала. Он предпочел бы, этот буржуй, чтобы его поддерживал другой буржуй, вроде меня. Чорта с два. «Панама! В отставку! Да здравствует армия! Долой жидов! Ура королю!» Все это способствовало тому, что я принял Бисоло с величайшей учтивостью. Мне стоило только крикнуть: «Э, да вот Бисоло!», и мои двенадцать молодчиков тотчас бы его изувечили. Но мне это было не нужно. Я ничего не сказал. Мы мирно стояли друг подле друга и наблюдали за маршем пленных сторонников Лубе, которых без всяких церемоний гнали в полицейский участок на улицу Друо. Предварительно избитые до бесчувствия, они по большей части висли на руках полицейских агентов, как тряпичные куклы. Среди них был депутат-социалист, красавец мужчина с окладистой бородой. Ему оборвали рукава... Мальчишка из мастерской заливался слезами и кричал: «Мама! мама!..» Тут же – редактор какой-то бездарной газетки с подшибленным глазом и носом, из которого кровь била искристым фонтаном. И подите же!

Марсельеза! «И кровью вражьей нивы оросим...» Особенно бросился мне там в глаза один – более почтенный по виду и более несчастный, чем другие. Нечто вроде профессора, человек пожилой и солидный. Видимо, он хотел дать какие-то разъяснения, старался воздействовать на полицейских изысканными и убедительными словами. Иначе трудно было бы объяснить, почему они гвоздили ему ребра подкованными сапожищами и потчевали его звонкими тумаками в спину. А так как он был очень высок, очень худ, очень слаб и легок, то он комично подпрыгивал под ударами и делал какие-то ужимки, словно стремился вознестись на воздух. Его обнаженная голова вызывала жалость, у него был вид утопающего, – такой, какой бывает у близоруких, когда они теряют пенсне. Лицо его выражало бесконечную муку существования, для которого наносимые ему удары увесистых кулаков и подбитых гвоздями сапог составляли единственную связь с внешним миром.

Во время шествия этих злополучных пленников гражданин Бисоло, несмотря на то, что находился на вражеской территории, не мог удержаться от вздоха и сказал:

– Как-никак, а все же странно, что в республике подобным образом расправляются с республиканцами.

Я вежливо ответил, что это действительно веселое зрелище.

– Нет, гражданин монархист, – продолжал Бисоло, – это совсем не веселое зрелище. Это грустное зрелище. Но не в нем главное несчастье. Главное несчастье я вам скажу в чем: во всеобщей дряблости.

Так говорил гражданин Бисоло с доверием, делавшим честь нам обоим. Я окинул взглядом толпу, и в самом деле она показалась мне размякшей и лишенной энергии. Из ее толщи временами вырывался крик, напоминавший взрыв детской петарды: «Долой Лубе! Долой воров! Долой жидов! Да здравствует армия!» Во всем этом довольно ясно сквозила сердечная симпатия к милейшим полицейским. Но ни искры электричества, ничего такого, что предвещало бы грозу. И гражданин Бисоло продолжал излагать свою меланхоличную философию:

– Настоящее зло, главное зло – это дряблость публики. Сегодня от этого страдаем мы, республиканцы, мы, социалисты и анархисты. А завтра от этого будете страдать вы, господа монархисты и цезаристы. И вы в свою очередь узнаете, что не заставишь пить осла, который пить не хочет. Арестовывают республиканца, и никто не шелохнется. Когда наступит очередь роялистов и их начнут арестовывать, тоже никто не шелохнется. Будьте уверены: толпа не поторопится освободить ни вас, господин Анри Леон, ни вашего друга Деруледа.

Признаюсь, эти слова как бы озарили предо мной зловещую пропасть будущего. Тем не менее я довольно хвастливо ответил:

– Господин Бисоло, между вами и нами все же есть разница. Вы для толпы – кучка наймитов и врагов родины, а мы, монархисты и националисты, пользуемся общественным уважением, мы популярны.

В ответ на это гражданин Бисоло улыбнулся самым приятным образом и сказал:

– Конь оседлан, монсеньор, пожалуйста в стремя. Но, когда вы сядете на коня, он преспокойно уляжется на краю дороги и скинет вас на землю. Нет более дрянного коняги на свете, заверяю вас. Кто из таких всадников, скажите пожалуйста, за свою популярность не заплатился собственными ребрами? Разве толпа была когда-либо в состоянии хоть отчасти прийти на выручку своим кумирам в минуту опасности? Вы не так популярны, господа националисты, как вы говорите, и ваш претендент Солдатский Котелок неизвестен народу. Но если когда-либо толпа влюбленно заключит вас в свои объятия, вы скоро обнаружите ее безмерное бессилие и низость.

Я не мог удержаться, чтобы сурово не упрекнуть гражданина Бисоло в клевете на французский народ. Он мне ответил, что он социолог, что он занимается социализмом, опираясь на науку, что у него имеется шкатулка с собранием точно классифицированных данных, позволяющих ему методично произвести революцию. И он добавил:

– Суверенитет принадлежит науке, а не народу. Глупость, повторенная тридцатью шестью миллионами ртов, не перестает быть глупостью. Большинство чаще всего обнаруживало чрезвычайную склонность к подчинению. У слабых слабость растет в соответствии с ростом их численности. Толпы всегда инертны. У них появляется некоторая крупница силы лишь тогда, когда они дохнут с голоду. Я в состоянии вам доказать, что еще утром десятого августа тысяча семьсот девяносто второго года население Парижа было на стороне короля. Я уже десять лет как выступаю с речами на публичных собраниях, и на мою долю пришлось немало тумачков. Воспитание народа еще только в зародыше, и это чистая правда. В мозгу рабочего, в том месте, где у буржуа ютятся бессмысленные и жестокие предрассудки, зияет провал. Его надо заполнить. Это удастся сделать. Но времени потребуется немало. А пока что лучше иметь голову ничем не наполненную, чем наполненную жабами и змеями. Все это научно, все это у меня в шкатулке. Все это соответствует законам эволюции. Но тем не менее всеобщая расхлябанность мне отвратительна. А на вашем месте она бы меня пугала. Взгляните на своих сторонников, на приверженцев сабли и кадила. До чего они рыхлы, до чего студенисты!

Он изрек это, вытянул руки, бешено заревел: «Да здравствует социальная революция!», нырнул, пригнув голову, в огромную толпу и исчез в ее волнах.

Жозеф Лакрис, выслушав это длинное повествование без всякого удовольствия, спросил, не считать ли гражданина Бисоло просто неотесанным дураком.

– Напротив, – возразил Анри Леон, – это умный человек, и его хорошо иметь соседом по имению, как сказал Бисмарк про Лассалья. Бисоло был более чем прав, говоря, что не заставишь пить осла, который пить не хочет.

XII

Госпожа де Бонмон представляла себе любовь – как бездну, напоенную блаженством. После обеда в «Мадриде», облагороженного чтением королевского письма, и волнующей поездки по Булонскому лесу, она сказала Жозефу Лакрису в карете, еще теплой от исторического объятия: «Это будет навеки», и ее слова, которые покажутся безосновательными, если принять во внимание непостоянство элементов, служащих субстанцией любовных эмоций, свидетельствовали тем не менее о подобающей вере в бытие духа и о благородном влечении к бесконечному. «О, да!» – ответил Жозеф Лакрис.

Две недели истекло после этой ночи, полной возвышенных чувств, две недели, в течение которых секретарь департаментского союза роялистской молодежи посвящал свое время заботам о заговоре и о своей любви. Баронесса, в суконном костюме, с белой кружевной вуалеткой на лице, приехала в назначенный час в квартирку, помещавшуюся во втором этаже незаметного дома на улице лорда Байрона, – три комнаты, которые она сама обставила со всей деликатностью своего сердца и приказала обить таким же небесно-голубым шелком, как и тогда, когда она предавалась в обществе Рауля Марсьена любовным радостям, ныне уж забытым. Она застала там Жозефа Лакрису, корректного, гордого и даже немного сурового, обаятельного, молодого, но все еще не совсем такого, каким бы она его хотела видеть. Его нахмуренные брови, его тонкие, сжатые губы, пожалуй, напомнили бы ей Рара, если бы она не обладала благословенным даром полностью забывать прошлое. Она знала, что, если он был озабочен, то не без причины. Она знала, что он участвует в заговоре, что на его долю выпало поручение «прихлопнуть» префекта первого класса и республиканских главарей одного густо населенного департамента и что он рискует в этом предприятии своей свободой, своей жизнью ради трона и алтаря. Она и полюбила его сперва за то, что он был заговорщиком. Но теперь она предпочла бы, чтобы он был радостнее и нежнее. Он принял ее неплохо. Он сказал ей: «Видеть вас – опьянение. Вот уже две недели я хожу, как в зачарованном сне, клянусь вам». И добавил: «Вы восхитительны». Но он почти не взглянул на нее и тотчас же направился к окну. Он приподнял уголок занавески и стоял в течение десяти минут, что-то разглядывая.

Затем он сказал не оборачиваясь:

– Я же предупреждал вас, что нам нужно два выхода. Вы не хотели мне верить... Хорошо еще, что тут окна со стороны фасада. Но дерево загораживает мне вид.

– Акация, – вздохнула баронесса, медленно развязывая вуалетку.

Перед фасадом дома, изрезанным нишами, был маленький палисадник, усаженный акациями и дюжиной белых буков и обнесенный решеткой с вьющимся плющом.

– Да, акация, если угодно.

– На что вы смотрите, мой друг?

– На человека, который стоит столбом у противоположной стены.

– Что это за человек?

– Не имею никакого понятия. Смотрю, не один ли это из моих шпииков. Меня выслеживают. С тех пор как я в Париже, за мной ходят по пятам два агента. В конце концов надоедает! Я думал, что на этот раз мне удалось их сбить с толку.

– А почему вы не подадите жалобы?

– Кому?

– Не знаю... Правительству...

Он не ответил и продолжал еще некоторое время свои наблюдения. Затем, убедившись, что этот человек не был одним из его шпииков, Жозеф вернулся к баронессе несколько успокоенный.

– Как я вас люблю! Вы сегодня еще красивее, чем всегда. Уверяю вас. Вы очаровательны. А вдруг их мне сменили, моих филеров... Это Дюпюи меня наградил ими. Один был большой, другой маленький. Большой носил дымчатые очки. У маленького был клюв попугая вместо носа и раскосые птичьи глаза. Я знал их. Они были не очень опасны. Тертые молодцы. Когда я бывал у себя в клубе, каждый из моих друзей, входя, говорил мне; «Лакрис, я видел ваших детективов у дверей». Я посылал этим добрым малым сигары и пиво. Иногда я подумывал, не приставил ли их Дюпюи ко мне, чтобы меня охранять. Он был вспыльчив, своенравен, взбалмошен, но все же он был патриот. Я не сравню его с теперешними министрами. С ними надо быть начеку. А вдруг они сменили моих филеров, негодяи!

Он снова подошел к окну:

– Нет!.. Это извозчик, который курит трубку. Я не заметил его жилета с желтыми полосами. Страх искажает предметы, это несомненно... Признаюсь, я испугался – за вас, конечно. Я не могу допустить, чтобы вы были скомпрометированы из-за меня. Вы такая очаровательная, такая прелестная...

Он вернулся к ней, заключил ее в объятия и осыпал бурными ласками.

Вскоре ее костюм пришел в такой беспорядок, что стыдливость, помимо всякого другого чувства, заставила бы ее снять его.

– Элизабет, скажите: вы любите меня?

– Мне кажется, что если бы я вас не любила...

– Слышите эти тяжелые, ровные шаги на улице?

– Нет, друг мой.

И действительно, погруженная в сладостное небытие, она не прислушивалась к шумам внешнего мира.

– На этот раз никаких сомнений. Это он, мой филер, коротыш, птичья рожа. Всю жизнь буду помнить его шаги. Я отличу их среди тысячи.

И он опять направился к окну.

Эта необходимость быть начеку приводила его в нервное состояние. После поражения, постигшего монархистов 23 февраля, он утратил свою радужную самоуверенность. Он стал думать, что дело затягивается и усложняется. Большинство его соратников пришло в уныние. Он становился мрачен. Все его раздражало.

На свое несчастье Элизабет сказала ему:

– Не забудьте, мой друг, что вы, по моей просьбе, приглашены завтра на обед к моему брату, барону Вальштейну. Это даст нам случай увидеться.

Он вышел из себя:

– А ваш брат, барон Вальштейн! Поговорим-ка о нем. Достойный отпрыск своего племени, нечего сказать! Анри Леон предложил ему на этой неделе интересное дело: пропагандистскую газету, которую мы бы безвозмездно распространяли в неограниченном количестве по деревням и рабочим центрам. Он сделал вид, что не понял. Он стал давать советы Леону, хорошие советы. Что же, он думает, ваш брат, что нам нужны от него одни лишь советы?

Элизабет была антисемитка. Она почувствовала, что нарушит хороший тон, если вступится за своего горячо любимого брата барона Вальштейна из Вены. Она промолчала.

Лакрис принялся вертеть в руках маленький револьвер, который перед тем положил на ночной столик.

– Если придут меня арестовывать... – сказал он.

Бешеный прилив гнева затуманил ему мозг. Он воскликнул, что всех этих евреев, протестантов, франкмасонов, свободомыслящих парламентариев, республиканцев, приспешников правительства надо выпороть публично на площади и вкатить им промывательное из купороса. Он стал красноречив, заговорил благочестивым языком писак из газеты «Крест»:

– Жиды и франкмасоны пожирают Францию. Они разоряют нас и губят. Но погодите! Дайте дожить до рейнского процесса, и вы увидите, как мы пустим им кровь, прокоптим им окорока, нашпигуем их, подвесим их за шею перед колбасными лавками!.. Все готово. Восстание вспыхнет одновременно в Ренне и в Париже. Дрейфусаров мы истолчем в порошок на мостовой. Лубе поджарим в горящем Елисейском дворце. И давно пора.

Госпожа де Бонмон представляла себе любовь – как бездну, напоенную блаженством. Забыть весь мир в этой небесно-голубой комнате на один только день – ей было мало. Она попыталась навести своего друга на более кроткие мысли и сказала:

– У вас красивые ресницы.

И она осыпала его веки мелкими поцелуями.

Когда она в истоме снова раскрыла глаза, вызывая в душе воспоминания о бездонном счастье, в которое погрузилась на мгновение, она увидела Жозефа, озабоченного и, казалось, очень далекого от нее, хотя она одной рукой, красивой, утомленной и безвольной, еще привлекала его к себе. Голосом, нежным, как вздох, она спросила его:

– Что с вами, мой друг? Мы только что были так счастливы!

– О, да, – ответил Жозеф Лакрис. – Но я думаю о том, что мне нужно, еще до ночи, отправить три зашифрованных депеши. Это и сложно и опасно. Одно время нам даже казалось, что Дюпюи перехватил наши телеграммы от двадцать второго февраля. Там было написано достаточно, чтобы упрятать всех нас за решетку.

– Но он их не перехватил, друг мой?

– Вероятно, нет, раз нас не потревожили. Однако у меня есть основание полагать, что последние две недели правительство следит за нами. И пока мы не задавим потаскушку, я не буду спокоен.

Тогда, нежная и лучезарная, она обвила ему шею руками, словно благоуханной гирляндой цветов, устремила на него влажные сапфиры своих глаз и сказала с улыбкой, игравшей вокруг ее чувственного, свежего рта:

– Перестань тревожиться, друг мой. Не терзай себя. Вы добьетесь успеха, я в том уверена. Она погибла, их республика. Разве она в силах устоять перед тобой? Никто больше не хочет парламентариев. Их не хотят, я это знаю. Не хотят больше франкмасонов, свободомыслящих и всех этих скверных людей, которые не верят в бога, у которых нет ни религии, ни отечества. Потому что религия и отечество ведь это одно и то же, не правда ли? Подъем духа сейчас необыкновенный. По воскресеньям, за обедней, церковь полна. И там бывают не одни только женщины, как уверяют

республиканцы. Там бывают мужчины, мужчины из общества, офицеры. Поверь мне, мой друг, вам все удастся. А кроме того, я буду ставить за вас свечи в часовне святого Антония.

Он ответил задумчиво и внушительно:

– Да, мы покончим со всем в первых числах сентября. Настроение публики благоприятное. Население сочувствует нам и поощряет нас. В чем другом, а в симпатиях у нас нет недостатка.

Она, неосторожно спросила его, чего же им недостает.

– Чего нам недостает или по крайней мере может недоставать, если кампания затянется, ото денег, черт возьми! Деньги – нерв войны. Нам их дают. Но нужно много. Три дамы из высшего общества принесли нам триста тысяч франков. Его высочество был умилен этой чисто французской щедростью. Не правда ли, в этом подношении, сделанном королевской власти женщинами, есть что-то очаровательное, утонченное, напоминающее старорежимную Францию, старорежимное общество?

В это время баронесса приводила себя в порядок перед зеркалом и, казалось, не слушала.

Он уточнил свою мысль:

– А теперь они катятся, они катятся, эти триста тысяч франков, поднесенные белыми руками. Его высочество сказал нам о рыцарской изысканностью: «Истратьте эти триста тысяч, истратьте их до последнего су». Если бы еще какая-нибудь прелестная ручка принесла нам сто тысяч франков, она заслужила бы благословение. Она вложила бы свою лепту в спасение Франции. Открывается почетная вакансия среди амазонок банковского чека, в эскадроне прекрасных сторонниц Лиги. Обещаю, не боясь быть дезавуированным, обещаю четвертой жертвователнице собственноручное письмо принца и более того – табурет при дворе этой зимой.

Однако баронесса, почуяв, что у нее вымогают деньги, испытывала тягостное ощущение. Это был не первый случай. Но она не могла привыкнуть. И она считала совершенно бесполезным способствовать своими деньгами восстановлению трона. Безусловно она любила этого молодого принца, такого красивого, такого румяного, с такой прекрасной бородой, русой и шелковистой. Она горячо жаждала его возвращения, ей не терпелось увидеть его торжественный въезд в Париж и его помазание. Но в то же время она думала о том, что при двух миллионах дохода он не нуждался ни в каких подношениях, кроме любви, пожеланий и цветов. Она пробормотала, глядя в зеркало:

– Господи, как я растрепана!

Затем, приведя в порядок костюм и прическу, она достала из портмоне стеклянный медальон, оправленный позолоченным ободком и украшенный клевером о четырех листочках. Она протянула его своему другу и сказала прочувствованным тоном:

– Он принесет вам счастье. Обещайте мне хранить его вечно.

Жозеф Лакрис первым вышел из голубой квартирki, дабы отвлечь на себя внимание полицейских агентов, если за ним следили. На лестничной площадке он пробормотал со злобной гримасой:

– Истая Вальштейн эта женщина! Даром что крещена... Горбатого могила исправит.

XIII

Озаренный теплыми, сверкающими лучами заката, Люксембургский сад был как бы запорошен золотой пылью. Господин Бержере сидел на террасе между г-ном Дени и г-ном Губеном у подножья статуи Маргариты Ангулемской.

– Господа, – сказал он, – я хотел бы прочитать вам статью, появившуюся сегодня утром в «Фигаро». Не стану называть автора. Думаю, что вы и сами угадаете. Раз судьбе так угодно, я охотно буду читать перед статуей этой милой женщины, которая имела вкус к подлинной науке и питала уважение к мужественным людям, а за свою ученость, искренность, терпимость и сострадательность и за попытку вырвать жертвы из рук палача вызвала против себя возмущение всех монастырщиков и лай всех сорбоннщиков. Они подзудили сорванцов Наваррского коллежа оскорбить ее, и, не будь она сестрой французского короля, они зашили бы ее в мешок и бросили в Сену. У нее была нежная, глубокая и радостная душа. Не знаю, выглядела ли она при жизни такой лукавой и кокетливой, как эта мраморная статуя, изваянная малоизвестным скульптором: его звали Лекорне. Несомненно, по крайней мере, что этого лукавства и кокетливости мы не обнаруживаем в сухих и точных карандашных рисунках учеников Клуэ, оставивших нам ее портрет. Я скорее подумал бы, что грусть нередко заволакивала ее улыбку и скорбная складка кривила ей губы, когда она сказала: «Я вынесла на своих плечах большее бремя печали, чем то, которое обычно выпадает на долю высокородных людей». Она не была счастлива в личной жизни и видела вокруг себя торжество негодяев, ликовавших под рукоплескания невежд и трусов. Мне кажется, она с сочувствием прослушала бы то, что я собираюсь прочесть, если бы уши ее не были из мрамора.

И г-н Бержере, развернув газету, прочел следующее:

«КАНЦЕЛЯРИЯ»

Для того чтобы разобраться во всем этом деле, необходимо было с самого начала проявить известное старание и найти **не**кий критический метод, располагая притом возможностью **его** применить. И действительно, мы видим, что истину первыми

постигла те, кто, благодаря своим умственным дарованиям и характеру своих занятий, оказались способнее других справляться со сложными изысканиями. А дальше уже потребовались здравый смысл и внимание. Теперь же Достаточно и одного здравого смысла.

Нечего удивляться, что толпа долгое время не хотела признавать очевидную истину, – удивляться вообще не надо ничему. На все имеются свои причины. Наше Дело их обнаруживать. В данном случае даже не требуется особенно ломать себе голову, чтобы заметить, что публика была обманута в полной мере и что ее трогательной доверчивостью злоупотребили. Печать много способствовала успеху обмана. Большинство газет пришло на помощь фальсификаторам и публиковало главным образом лживые или поддельные данные, ругань и враки. Но надо признать, что это чаще всего делалось в угоду желанием публики и настроениям читателя. И совершенно несомненно, что противодействие истине оказывали инстинкты толпы.

Толпа – я имею в виду толпу людей, неспособных к самостоятельному мышлению, – не поняла; она и не могла понять. Толпа составила себе упрощенное представление об армии. Для нее армия – это парады, марши, смотры, маневры, мундиры, сапоги, шпоры, эполеты, пушки, знамена. А также – призыв новобранцев, ленты на шляпах и литры дешевого вина, казармы, учение, караульня, карцер, солдатская столовая. Это также – народный лубок, маленькие лоснящиеся картинки наших баталистов, изображающих мундиры такими свеженькими, а битвы – такими чистенькими. Это, наконец, символ силы и защиты, чести и славы. Как поверить, что военачальники, гарцующие на конях со шпагой в руке, среди молний стали и огней золота, под звуки музыки, под бой барабанов, могли, только что перед этим запершись в комнате, согнувшись над столами, наедине с прожженными агентами полицейской префектуры подчищать скребком, тереть резинкой или присыпать сандараком, стирать или вставлять чье-либо имя на документе, браться за перо для того, чтобы подделать подписи и загубить невинного, или же могли обдумывать гаерские переодевания для таинственных встреч с изменником, которого им надо было спасти?

Эти преступления казались толпе неправдоподобными уже

потому, что от них не веяло свежим воздухом, утренним маршем, учебным полем и что они были пропитаны какой-то затхлой атмосферой, запахом канцелярий; в них не было ничего военного. Действительно, все махинации, пущенные в ход, чтобы замазать судебную ошибку 1895 года, вся эта бесчестная писанина, это низкое и гнусное сутяжничество отдают канцелярией, зловонной канцелярией. Все нелепые выдумки и дурные мысли, – все, что четыре оклеенные зелеными обоями стены, дубовый стол, фарфоровая чернильница с обкладкой из губки, самшитовый нож, графин на камине, конторский шкаф, подушка для геморойков могут внушить этим сидням, этим «пригвожденным», которых воспел поэт, этим стрикулистам, интригующим, и ленивым, раболепствующим и заносчивым, пустословящим даже при отправлении своих пустых обязанностей, завидующим друг другу и кичащимся своей канцелярией, – все, что можно сделать подлого, лживого, вероломного и глупого при помощи бумаги, чернил, злости и скудоумия, вышло из одного угла этого здания, с барельефами, изображающими военные трофеи и дымящиеся гранаты.

То, что было сделано там в течение четырех лет, чтобы задним числом поставить в вину осужденному данные, которых не удосужились предъявить до приговора, и чтобы обелить виновного, хотя все подтверждало его вину да и сам он ее признал, – отличается чудовищностью, не укладывающейся в мозгу уравновешенного француза, и трагическим шутовством, не вызывающим одобрения в стране, где литература отвергает смешанные жанры. Нужно вплотную подойти к этим документам и следственным материалам, чтобы допустить возможность таких интриг и столь исключительных по своей дерзости и нелепости ухищрений, и я вполне могу понять, почему публика, невнимательная и плохо осведомленная, отказалась поверить в них даже тогда, когда они были разоблачены.

А между тем абсолютно достоверно, что в глубине министерских кулуаров, на тридцати квадратных метрах вощенного паркета, несколько бюрократов в военных кепи, одни ленивые и плутоватые, другие суетливые и шумные, обошли правосудие и обманули целый великий народ своей коварной и жульнической бумажной манипуляцией. Но если это дело, состряпанное главным образом Мерсье и его канцелярией,

вскрыло отвратительные нравы, то оно, с другой стороны, дало благородным характерам возможность себя проявить.

В той же самой канцелярии нашелся человек, нисколько не походивший на этих людей. Он обладал ясным, острым, дальновидным умом, широкой натурой, терпимой, глубоко гуманной душой, неиссякаемой сердечностью. Его с полным основанием считали одним из самых развитых офицеров армии. И хотя эти свойства, которыми отличаются существа весьма редкого склада, могли бы оказаться ему во вред, он был первым из офицеров его возраста произведен в подполковники, и все предвещало ему в армии блистательное будущее. Другим была известна его несколько насмешливая снисходительность и надежная доброта. Они видели, что он одарен высоким пониманием красоты, чутко воспринимает музыку и литературу, живет в эфирных сферах идей. Подобно всем людям с глубокой и содержательной внутренней жизнью, он развивал свои умственные и духовные способности в одиночестве. Это умение сосредоточиться в самом себе, эта естественная простота, дух самоотречения и самопожертвования и эта редкая нравственная чистота, иногда сохраняющаяся словно благодатный дар в душах, глубоко познавших зло мира, уподобляли его одному из тех солдат, которых видел или угадал Альфред де Виньи, спокойных повседневных героев, придающих незначительным своим поступкам свойственное им самим благородство и проникнутых при исполнении будничных обязанностей близкой их сердцу поэзией жизни.

Однажды этот офицер, прикомандированный ко второй канцелярии, обнаружил, что Дрейфус был осужден за преступление, которое совершил Эстергази. Он осведомил об этом своих начальников. Они попытались сперва уговорами, затем угрозами отвратить его от дальнейших розысков, которые, доказав невиновность Дрейфуса, разоблачили бы их промахи и преступления. Он чувствовал, что губит себя своим упорством, однако упорствовал. Со спокойной, неторопливой, уверенной рассудительностью, с хладнокровной отвагой служил он делу правосудия. Его отстранили. Его под вымышленным предлогом послали в Габес и на триполитанскую границу, с единственной целью, чтобы его умертвили там арабские головорезы.

Оказавшись не в состоянии его убить, попытались лишить

его чести, утопить в море клеветы. Думали, что вероломными посулами помешают ему говорить на процессе Золя. Однако он говорил. Говорил со спокойствием праведника, с ясностью души, не ведавшей страха и вожделений. Ни малодушия, ни преувеличений не было в его словах. Тон человека, выполняющего свой долг в этот день, как и во все прочие, ни минуты не думающего, что на этот раз ему нужно проявить особое мужество. Ни угрозы, ни уговоры не поколебали его ни на одно мгновение. Некоторые лица говорили, что для выполнения своей задачи, для доказательства невинности еврея и виновности христианина он был вынужден преодолеть клерикальные предрассудки, побороть антисемитские тенденции, укоренившиеся в его сердце с раннего возраста на эльзасской и французской земле, где он вырос, чтобы посвятить себя затем служению армии и родине. Те, кто общался с ним, знают, что это неправда, что ему чужд какой бы то ни было фанатизм, что мысли его очень далеки от всякого сектантства, что его высокий разум стоит выше ненависти и пристрастия и что, словом, он человек свободомыслящий.

Эту внутреннюю свободу, такую ценную для всех, преследователи не могли у него отнять. В тюрьме, в которую его заключили и камни которой, как выразился Фернан Грег, послужат цоколем для его статуи, он был свободен, более свободен, чем они. Углубленное чтение книг, спокойные и благожелательные высказывания, его письма, изобилующие высокими и ясными мыслями, свидетельствуют – я это знаю – о независимости его духа. Не он, а они, его преследователи и клеветники, были узниками своей лжи и своих преступлений. Свидетели видели его за замками и решетками невозмутимым, улыбающимся, снисходительным. В то время, когда происходило это великое возбуждение умов, когда устраивали общественные собрания, привлекавшие тысячи ученых, студентов и рабочих, когда листы с петициями покрывались подписями, требовавшими прекращения этого скандального ареста, он сказал Луи Аве, пришедшему его навестить: «Я хладнокровнее вас». Думаю, однако, что он страдал, думаю, что он жестоко страдал от всех этих низостей и подкопов, от этой чудовищной несправедливости, от этой эпидемии преступности и безумия, от этого возмутительного неистовства людей, обманывавших толпу,

и от простительного неистовства толпы, которую держали в неведении. И он тоже видел старушку, несшую по простоте душевной вязанку хвороста для костра невинного человека. И как мог бы он не страдать, убеждаясь в том, что люди много хуже, чем ему рисовало его мировоззрение, и что они менее мужественны и менее рассудительны в час испытания, чем полагают психологи в своих кабинетах. Думаю, что он страдал внутренне, страдал в глубине своей молчаливой души, прикрытой плащом стоицизма. Но я постыдился бы жалеть его. Я побоялся бы, чтобы этот шепот людской жалости не достиг его ушей и не оскорбил законную гордость его сердца. И я не только очень далек от того, чтобы жалеть его, но я еще скажу, что он был счастлив, счастлив оттого, что в день неожиданного испытания он оказался подготовленным и не проявил ни малейшей слабости, счастлив оттого, что внезапные обстоятельства позволили ему обнаружить величие его души, счастлив оттого, что он вел себя геройски и просто, как подобает честному человеку, счастлив оттого, что служит достойным примером солдатам и гражданам. Жалость надо приберечь для тех, кто смалодушествовал. Полковником Пикаром можно только восхищаться».

Окончив чтение, г-н Бержере сложил газету. Статуя Маргариты Наваррской вся порозовела. Небо на западе, суровое и блестящее, облачалось как бы в доспехи из облаков, похожих на пластины красной меди.

XIV

В тот же вечер г-н Бержере принимал у себя в кабинете своего коллегу Жюмажа.

Альфонс Жюмаж и Люсьен Бержере родились в один и тот же день, в один и тот же час от двух матерей-подруг, для которых это обстоятельство послужило в дальнейшем неисчерпаемой темой для бесед. Они выросли вместе. Люсьен не видел Ничего достойного внимания в том, что вступил в жизнь в тот же момент, как и его товарищ. Альфонс, более сосредоточенный, упорно думал об этом. Он усвоил привычку сравнивать судьбу этих двух начавшихся одновременно существований и мало-помалу пришел к убеждению, что было бы справедливо, правильно и желательно, чтобы они шли нога в ногу.

Он ревниво наблюдал за этими двумя карьерами-близнецами, посвященными педагогической деятельности, и, сопоставляя свою судьбу с чужой, доставлял себе постоянные напрасные волнения, затуманивавшие природную ясность его души. И то, что г-н Бержере стал профессором университета, меж тем как он был лишь учителем грамматики в пригородном лицее, казалось Жюмажу оскорбительным для зеркала божественной справедливости, хранившегося в его сердце. Он был слишком порядочным человеком, чтобы ставить это в упрек г-ну Бержере. Но когда тому предоставили кафедру в Сорбонне, Жюмаж огорчился, исключительно из симпатии к своему другу.

Довольно странным результатом сравнительного изучения обеих жизней было то, что Жюмаж приучил себя думать и поступать во всех случаях обратно тому, как поступал г-н Бержере: искренность и честность не были ему чужды, но непреодолимая подозрительность, заставляла его полагать, что, очевидно, не все чисто у человека, делающего карьеру, более удачную и блестящую, чем делает он, а следовательно, незаслуженную. Таким образом, опираясь на уважительные причины, которые он сам измышлял, и на желание быть во всех отношениях антагонистом г-на Бержере и его вторым «я», ополчившимся против него, он примкнул к националистам, как только узнал, что профессор Сорбонны стал сторонником пересмотра «Дела». Он записался в лигу «Французское национальное движение» и выступал там с речами. Соответственно этому он становился в оппозицию к своему другу по всем вопросам, будь то система экономного отопления или же правила латинской грамматики. А

так как в конечном счете г-н Бержере был не всегда неправ, то и Жюмаж не всегда был прав.

Эти противоречия, превратившиеся с годами в точный, обоснованный метод, нисколько не омрачили дружбы, возникшей еще в детские годы. Жюмаж искренне огорчился неудачами, постигавшими г-на Бержере на протяжении его нередко мучительной жизни. Он навещал его при всяком несчастье, о котором узнавал. Это был друг в тяжкие минуты.

Когда он в тот вечер здоровался со своим старым товарищем, на его раскрасневшемся от радости и грусти лице, так хорошо знакомом Люсьену, выражались смущение и смятение.

– Как поживаешь, Люсьен? Я тебе не помешал?

– Нет. Я читал «Тысячу и одну ночь» в недавно появившемся переводе доктора Мардрюса: рассказ о носильщике и молодых девушках. Это точный перевод и совсем не похож на «Тысячу и одну ночь» нашего старика Галана.

– Я зашел навестить тебя... потолковать с тобой... Впрочем, ничего важного, – сказал Жюмаж. – Так ты читал «Тысячу и одну ночь»?

– Да, – ответил г-н Бержере. – И читал впервые, потому что почтенный Галан не дает об этих сказках никакого представления. Он превосходный повествователь, старательно исправивший арабские нравы. Его Шахразада, как и Эсфирь Куапеля, имеет свою ценность. Но тут перед нами Аравия со всеми своими ароматами.

– Я принес тебе статью, – продолжал Жюмаж. – Впрочем, я уже говорил, – ничего важного.

Он извлек из кармана газету. Г-н Бержере медленно протянул за ней руку. Жюмаж сунул газету обратно. Г-н Бержере опустил руку. Тогда Жюмаж дрожащими пальцами положил газету на стол.

– Еще раз повторяю, это не важно. Но я подумал, что, может быть, лучше... может быть, лучше, чтобы ты знал... У тебя есть враги, много врагов.

– Льстец! – заметил г-н Бержере.

И, взяв газету, он прочел строчки, отчеркнутые синим карандашом:

«Жалкий педель из дрейфусаров, интеллигент Бержере, плесневевший в провинции, получил кафедру в Сорбонне. Студенты филологического факультета энергично протестуют против назначения этого антифранцузского протестанта. И нас нисколько не удивило известие, что многие из них решили по заслугам встретить свистками этого грязного немецкого жида,

которого министр народного просвещения имел дерзость навязать им в профессора».

И когда Бержере дочитал статью, Жюмаж порывисто заявил:

– Не читай! Право, не стоит. Это мелочи!

– Мелочи, согласен с тобой, – возразил г-н Бержере. – И тем не менее не надо отнимать у меня этих мелочей, служащих скромным и слабым, но почетным и несомненным доказательством того, что я сделал в тяжелые времена. Сделал я немного. Но все же и я подверг себя риску. Декан Стапфер был уволен за то, что над чьей-то могилой произнес речь о правосудии. Господин Буржуа был в то время вершителем судеб преподавательского персонала. А мы знавали и похуже дни, чем те, которые уготовил нам господин Буржуа. Если бы не великодушная стойкость моих начальников, я был бы удален из университета неразумным министром. Тогда я не думал об этом. Но, подумавши теперь, считаю себя вправе потребовать награду за свои действия. А какой награды более достойной, более яркой и разительной, более великой могу я ждать, чем брань со стороны врагов справедливости? Я мог бы пожелать, чтобы автор статьи, против своей воли воздавший мне должное, выразил бы свою мысль в более достопамятных словах. Но нельзя требовать слишком многого.

После этого г-н Бержере просунул лезвие своего ножа из слоновой кости между страницами «Тысячи и одной ночи». Он любил разрезать новые книги. Будучи мудрецом, он доставлял себе наслаждение, приличествовавшее его званию. Суровый духом Жюмаж позавидовал ему в этом невинном развлечении и, дернув его за рукав, произнес:

– Послушай, Люсьен. Я не разделяю ни одного из твоих взглядов на процесс. Я осуждал твое поведение. Осуждаю его и теперь. Боюсь, что оно может иметь губительные последствия для твоего будущего. Настоящие французы никогда тебе не простят. Но считаю нужным сказать, что я решительно против тех полемических приемов, какие применяли некоторые газеты по отношению к тебе. Я их порицаю. Надеюсь, ты в этом не сомневаешься.

– Нисколько не сомневаюсь.

После минутного молчания Жюмаж продолжал:

– Заметь, Люсьен, что тебя оклеветали в отношении твоей служебной деятельности. Ты вправе привлечь клеветника к ответственности перед судом присяжных. Но не советую. Его оправдают.

– Это можно предвидеть, – ответил г-н Бержере. – Разве только, что я явлюсь в зал суда в шляпе с султаном и со шпагой на боку, в сапогах со

шпорами и в сопровождении двадцати тысяч наемных крикунов. Ибо тогда судьи и присяжные обсудили бы мою жалобу. Когда им представили сдержанное письмо Золя, обращенное к президенту республики, которому оно было не по уму, присяжные Сенского департамента осудили автора, да и как же иначе! – ведь они совещались под нечеловеческой вой, в обстановке безобразнейших угроз и невыносимого бряцания доспехами, среди призраков заблуждения и лжи, справлявших свой шабаш! В моем распоряжении нет такой грозной аппаратуры. А потому вполне вероятно, что моего клеветника оправдают.

– Но не можешь же ты вовсе не реагировать на оскорбления! Как ты намерен поступить?

– Никак. Я считаю себя удовлетворенным. Я в равной мере доволен и поношениями прессы, и ее похвалами. В газетах торжеству правды противники ее содействовали в такой же мере, как и друзья. Когда, к чести Франции, горсточка людей разоблачила мошенническое осуждение невинного, правительство и молва обошлись с ними как с врагами. Однако они не умолкали. И голос их восторжествовал. Большинство газет вело против них, как ты знаешь, бешеную кампанию. Но газеты эти невольно послужили делу истины и, опубликовав фальшивые документы...

– Не так уж много было фальшивых документов, Люсьен...

– ...и, опубликовав фальшивые документы, помогли установить их подложность. Ложь была разбита, и уже невозможно было спаять воедино ее обломки. В конечном счете сохранилось то, в чем была связь и последовательность. Истина обладает силой сцепления, которой нет у лжи. Оскорбления и ненависть перед ней бессильны, она выковала цепь, которую ничем не разорвать. Свободе печати и ее безнравственности обязаны мы торжеством нашего дела.

– Но ваше дело вовсе не восторжествовало, а мы вовсе не побеждены! – воскликнул Жюмаж. – Совсем напротив. Общественное мнение страны высказалось против вас. Должен, к твоему огорчению, сказать, что тебя и твоих друзей единодушно ненавидят, поносят, оплевывают. Мы побеждены?! Ты шутишь. Вся страна за нас.

– Вы побеждены изнутри. Если бы я судил по одной только внешности, я мог бы счесть вас победителями и поставить крест на правосудии. Преступники не наказаны; должностные преступления и лжесвидетельство признаны достойными поступками. Я вовсе не надеюсь на то, что противники истины признаются в своей ошибке. На такой шаг способны лишь величественные души.

Настроение умов мало изменилось. Публика осталась почти такой же

неосведомленной. Не произошло никаких резких, потрясающих переворотов в умах. Не случилось ничего заметного или поразительного. Между тем уже прошло то время, когда какой-нибудь президент республики принижал до уровня своей душонки правосудие, честь родины, внешнюю политику государства, когда могущество министра покоилось на сговоре с врагами тех основ, охрана которых на него возложена; прошло время грубых посягательств и лицемерия, когда презрение к интеллекту и ненависть к справедливости управляли и общественным мнением и государственной доктриной, когда власти покровительствовал субъектам, орудующим дубинкой, когда считалось преступлением воскликнуть: «Да здравствует республика!» Эти времена уже далеки от нас, они как бы упали в бездну прошлого, канули во мрак варварских веков.

Они могут вернуться; мы пока не отделены от них ничем сколько-нибудь прочным или по крайней мере ясным и определенным. Они развеялись, как и облака заблуждения, которыми они порождены. Малейшее дыхание ветра может еще вернуть обратно эти тени. Но если бы даже все на свете сговорилось вас поддержать, вы тем не менее безнадежно погибли. Вы побеждены изнутри, и это поражение непоправимо. Когда вас поражают снаружи, вы еще можете продлить сопротивление и надеяться на реванш. Но ваша гибель – внутри вас. Неизбежные последствия ваших ошибок и преступлений дают себя знать помимо вашей воли, и вы с удивлением видите, что пошли ко дну. Неправедные и действующие насилием, вы гибнете от собственной неправедности и насилия. И вот вся огромная партия сторонников беззакония, хотя она и осталась безнаказанной, хотя ее окружили уважением, хотя ее боятся, падает и рушится сама собой.

Стоит ли считаться с тем, что формальное признание этого факта запаздывает или совсем отсутствует? Естественное и подлинное правосудие заключено в самих последствиях деяния, а не во внешних определениях, зачастую недостаточно полных, а иногда и произвольных. К чему сетовать на то, что преступники ускользают от закона и продолжают пользоваться презренными почестями? Это для нашего социального строя так же несущественно, как в эпоху юности земли несущественно было то, что по исчезновении гигантских ящеров первобытных океанов, уступивших место животным более красивым по форме и с более развитыми инстинктами, еще оставалось несколько чудовищ, последышей обреченной породы, увязших на илистом побережье.

Выйдя от своего друга, Жюмаж встретил у решетчатой ограды Люксембургского сада г-на Губена.

– Я иду от Бержере, – сказал Жюмаж. – Его состояние меня удручает. Я застал его угнетенным, подавленным. Процесс сокрушил его.

Анри де Бресе, Жозеф Лакрис и Анри Леон собрались в помещении исполнительного комитета на улице Бэри. Они покончили с текущими делами. Затем Жозеф Лакрис обратился к Анри де Бресе:

– Дорогой председатель, я хочу попросить у вас префектуру для одного искреннего роялиста. Уверен, что вы мне не откажете, когда узнаете, кто такой мой кандидат. Его отец, Фердинанд Делион, горнозаводчик в Валькомбе, со всех точек зрения достоин благоволения короля. Это хозяин, пекущийся о физическом и моральном благополучии своих рабочих. Он снабжает их лекарствами и наблюдает за тем, чтобы они посещали по воскресениям мессу, посылали своих детей в конгрегационные школы, голосовали за кого надо и не вступали бы в профессиональные союзы. К сожалению, ему чинит препятствия депутат Котар, а супрефект Валькомба не оказывает ему должной поддержки. Сын его Гюстав – один из наиболее активных и способных членов моего департаментского комитета. Он энергично провел антисемитскую кампанию в нашем городе и подвергся аресту во время манифестации против Лубе в Отейле. Вы не откажете, дорогой председатель, в префектуре Гюставу Делиону.

– В префектуре!.. – пробормотал Бресе, перелистывая список чиновников. – В префектуре... У нас остались только Гере и Драгиньян. Хотите Гере?

Жозеф Лакрис слегка улыбнулся и сказал:

– Но, дорогой председатель, Гюстав Делион – мой сотрудник. В назначенный день он, под моим руководством, поможет силой устранить префекта Вормс-Клавлена. Было бы справедливо, если бы он занял его место.

Анри де Бресе, уставившись в список, ответил, что это невозможно. Преемник Вормс-Клавлена уже назначен. Его высочеству угодно было определить на этот пост Жака де Кад, одного из первых поставивших свою подпись при сборе пожертвований в пользу вдовы Анри.

Лакрис возразил, что Жак де Кад был для департамента чужим человеком. Анри де Бресе напомнил, что повеления короля пересмотру не подлежат, и спор грозил стать довольно бурным, когда Анри Леон, сидя верхом на стуле, протянул руку и заявил не допускающим возражений тоном:

– Преемником Вормс-Клавлена не будет ни Жак де Кад, ни Гюстав

Делион. Им будет Вормс-Клавлен.

Лакрис и Бресе единодушно возмутились.

– Им будет Вормс-Клавлен, – повторил Леон. – Вормс-Клавлен, который не станет дожидаться вашего прихода, а водрузит на крыше префектуры королевский флаг, так что министр внутренних дел, назначенный королем, тут же распорядится по телефону и оставит его во главе департаментской администрации.

– Вормс-Клавлен – префект при монархии! Это не укладывается в голове, – презрительно заявил Бресе.

– Это действительно могло бы шокировать, – ответил Анри Леон, – но если префектом будет назначен шевалье Де Клавлен, то возразить будет нечего. Не будем создавать себе иллюзий. Лучшие места король отдаст не нам. Неблагодарность – первое правило монархов. Ни один из Бурбонов от него не отказывался. Я говорю это в похвалу французскому королевскому дому. Вы всерьез думаете, что король составит свое правительство из членов «Белой гвоздики», «Василька» и «Розы Франции», что он наберет министров из Жокей-клуба, из Пюто, а Христиани будет назначен обер-церемониймейстером? Сильно ошибаетесь! «Роза Франции», «Василек» и «Белая гвоздика» останутся внизу, в тени, где ютятся фиалки. Христиани будет освобожден, вот и все. Он будет на дурном счету за то, что продал цилиндр Лубе. И совершенно правильно!.. Лубе, являющийся теперь для нас гнусным панамистом, превратится в нашего предшественника, когда мы его заменим. Король усядется в его кресло на отейльских скачках и тогда будет считать, что Христиани создал дурной прецедент, а уж награждать Христиани во всяком случае не станет. Да и сами мы, нынешние заговорщики, подпадем под подозрение. При дворах не любят заговорщиков. Я говорю это затем, чтобы избавить вас от горьких разочарований. Жить без иллюзий – вот рецепт счастья. Я лично не стану жаловаться, если о моих услугах забудут и отнесутся к ним с пренебрежением. Политика не руководствуется чувством. И я слишком хорошо знаю, к чему будет вынуждено его величество, после того как мы поможем ему воссесть на трон его предков. Прежде чем вознаграждать бескорыстную преданность, хороший король оплачивает продажные услуги. Не сомневайтесь в этом. Самые высокие почести и самые прибыльные должности достанутся республиканцам. Из одних только «присоединившихся!» составит треть административного персонала, и они подспеют к кассе раньше нас. Но это будет справедливо. Громанс, старый шуан, «присоединившийся!» при республике Мелина, определяет свое положение без всяких обиняков, когда говорит нам: «Я теряю из-за вас

кресло в сенате. Вы должны дать мне кресло в палате пэров». Он его и получит. Да в сущности он этого и заслуживает. Но что там доля, которую урвут «присоединившиеся», по сравнению с долей истых республиканцев, которые изменят только в последнюю минуту! Вот кому достанутся портфели и шитые мундиры, и титулы, и дотации. Знаете, где сейчас находятся первые из наших будущих министров и добрая половина будущих пэров Франции? Не ищите их ни в комитетах, где мы ежечасно рискуем быть схваченными, как какие-нибудь мошенники, ни при бродячем дворе страдальца-изгнанника, нашего юного и прекрасного короля. Вы найдете их в прихожих радикальных министров и в гостиных Елисейского дворца, и у всех окошечек касс, где платит республика. Вы, что же, никогда не слышали о Талейране и о Фуше? Не изучали истории, хотя бы по книгам господина Энбера де Сент-Аман? Не эмигранта, а цареубийцу назначил Людовик Восемнадцатый министром полиции в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Наш юный король, конечно, не так хитер, как Людовик Восемнадцатый. Но не надо думать, что он лишен рассудительности, – это было бы непочтительно и, пожалуй, слишком строго. Когда он станет королем, он отдаст себе отчет в требованиях момента. Всех лидеров республиканской партии, которые не окажутся убитыми, изгнанными, сосланными или неподкупными, придется вознаградить. Иначе вся эта обширная и могучая партия перестроится и ополчится против него. И сам Мелин превратится в ярого противника.

А раз уж я назвал Мелина, то скажите сами, Бресе, что будет выгоднее королевской власти: чтобы председательствовал в палате пэров ваш отец или же Мелин, герцог Ремирмонтский, князь Вогезский, кавалер ордена Почетного легиона первой степени, орденов Агрикультуры, Лилии и святого Людовика? Не может быть никаких колебаний: герцог Мелин обеспечит короне больше сторонников, чем герцог де Бресе. Вас, невидимому, надо учить азбуке реставраций!

Нам достанутся только звания и должности, которыми пренебрегут республиканцы. Расчет будет на нашу бескорыстную преданность. Нашего недовольства бояться не будут, считая нас безобидными шавками. Никому не придет в голову, что мы можем стать в оппозицию.

Так нет же! Они ошибутся. Мы будем вынуждены стать в оппозицию, и мы так и сделаем. Это будет полезно и воЕсе не трудно. Конечно, мы не примкнем к республиканцам: во-первых, это безвкусица, а во-вторых, наша лойяльность нам это запрещает. Мы не можем быть меньше монархистами, чем сам монарх, но больше – пожалуйста. Его высочество герцог Орлеанский не демократ, надо отдать ему справедливость. Ему нет дела до

положения рабочих. Он старорежимного склада. Но хотя он и обедает в коротких штанах и бретонском жилете, со всеми орденами на шее, а все-таки, когда у него будут либеральные министры, он тоже будет либералом. Никто нам тогда не помешает стать ультра роялистами. Мы будем тянуть вправо, в то время как республиканцы будут тянуть влево. Мы окажемся опасными, и к нам начнут относиться милостиво. И почему знать, не спасут ли на этот раз монархию именно ультрароялисты? У нас есть совершенно редкостная армия. Армия в данный момент религиознее духовенства. У нас есть совершенно редкостная буржуазия, буржуазия антисемитская, которая думает так, как думали в средние века. У Людовика Восемнадцатого не было ничего подобного. Дайте мне портфель министра внутренних дел, и я берусь, при наличии таких превосходных элементов, продлить абсолютную монархию на десяток лет. Потом придет социальная революция. Но и десять лет – недурной срок.

После этих слов Анри Леон закурил сигару. Жозеф Лакрис, не расстававшийся со своею мыслью, попросил Анри де Бресе посмотреть, не найдется ли все-таки какой-нибудь хорошей префектуры. Но президент ответил, что нет ничего, кроме Гере и Драгиньяна.

– Что ж, оставим Драгиньян за Гюставом Делионом, – сказал со вздохом Лакрис. – Он будет недоволен. Но я объясню ему, что это только для начала.

Баронесса де Бонмон пригласила всю титулованную, промышленную, финансовую знать, владевшую окрестными замками, на благотворительный праздник, который она устраивала 29-го числа в прославленном дворце Монтиль, воздвигнутом в 1508 году Бернаром де Пав, генерал-фельдцейхмейстером при Людовике XII, для Николеты де Восель, своей четвертой супруги, и купленном после французского займа 1871 года бароном Жюлем. Г-жа де Бонмон была настолько тактична, что не послала приглашений еврейским замкам, хотя у нее были там и друзья и родственники. Крестившись после смерти мужа и перейдя во французское подданство пять лет тому назад, она посвятила себя религии и отечеству. Подобно своему брату барону Вальштейну из Вены, она благородно отличалась от прежних своих единоверцев искренним антисемитизмом. При всем том она не была честолюбива, и природные склонности влекли ее к тихим радостям. Она удовлетворилась бы скромным положением в обществе христианской аристократии, если бы сын не принуждал ее к пышному образу жизни. Это он, молодой барон Эрнест, толкнул ее на то, чтобы завязать знакомство с Бресе. Это он включил весь гербовник провинции в список приглашенных на праздник. Это он привез в Монтиль для участия в спектакле маленькую герцогиню де Мозак, заявлявшую, что она достаточно родовита, чтобы позволить себе ужинать у цирковых наездниц и напиваться с кучерами.

Программа развлечений включала спектакль «Джокондо» при участии великосветских любителей, благотворительный базар в парке, венецианский праздник на пруду, иллюминацию.

Наступило уже 17-е. Приготовления шли со страшной спешкой и среди невероятного сумбура. Маленькая труппа репетировала пьесу в длинной галлее эпохи Возрождения, под сенью плафона, в кессонах которого с удивительным разнообразием композиции повторялось изображение геральдического павлина Бернара де Пав, привязанного за лапу к людне Николеты де Восель.

Господин Жермен сопровождал певцам на рояле, в то время как плотники звонкими ударами деревянных молотков приколачивали задники к киоскам в парке. Режиссировал Ларжийер из Комической оперы.

– Прошу вас, герцогиня.

Жермен снял все кольца, кроме одного – на большом пальце, и опустил

руки на клавиатуру.

– Ла, ла...

Но герцогиня, принимая бокал из рук Эрнеста де Бонмона, сказала:

– Дайте допить коктейль.

Когда с этим было покончено, Ларжийер повторил:

– Начнем, герцогиня:

О миг победный!

Сбылся мой сон...

И руки г-на Жермена, без золота и камней, за исключением одного аметиста на большом пальце, снова прильнули к клавиатуре. Но герцогиня не запела. Она с интересом разглядывала аккомпаниатора:

– Мой дорогой Жермен, я люблюсь вами. Вы отрастили себе грудь и ляжки! Поздравляю! Вам это удалось, честное слово! А я! смотрите...

Герцогиня провела руками сверху вниз по своему суконному костюму:

– А я все спустила.

Она сделала полуоборот:

– Ничего не осталось! Все ушло. А тем временем появилось у вас. Забавно в самом деле. О! убыли нет. Все уравнилось.

В это время Рене Шартье, игравший Джокондо, стоял неподвижно, вытянув шею трубою и думая только о бархатистости и жемчужных переливах своего голоса, серьезный и даже несколько мрачный. Он потерял терпение и сухо заявил:

– Мы никогда не подготовимся! Это чистое несчастье.

– Вернемся к квартету, – сказал Ларжийер. – Начинайте!

О миг победный!

Сбылся мой сон.

Джокондо бедный,

Ты побежден!

– Выходите, господин Катрбарб.

Жерар Катрбарб был сыном епархиального архитектора. Его стали принимать в обществе с тех пор, как он выбил стекла у г-на Мейера, подозреваемого в том, что он еврей. У него был красивый голос, но он не вступал вовремя. И Рене Шартье бросал на него разъяренные взгляды.

– Герцогиня, вы не на месте.

– О! конечно, не на месте.

Репе Шартье, страдаемый горечью, подошел к Эрнесту де Бонмону и сказал ему на ухо:

– Прошу вас, не давайте больше коктейлей герцогине. Она провалит спектакль.

Ларжийер тоже жаловался. Хор пел вразброд, и ансамбля не получалось. Тем не менее приступили к трио.

– Господин Лакрис, вы не на месте.

Жозеф Лакрис не был на месте. И нужно сказать, что это было не по его вине. Г-жа де Бонмон то и дело увлекала его в укромные уголки и шептала:

– Скажите, что вы меня еще любите. Если вы меня больше не любите, я чувствую, что умру.

Она расспрашивала его также о том, как обстоят дела у заговорщиков. А так как они обстояли плохо, то эти вопросы его раздражали.

Он также не мог ей простить, что она не дала денег на предприятие. Он направился решительным шагом к хору, в то время как Рене Шартье вдохновенно заливался:

Огием любви палимый,
Бежишь от ласк любимой.

Молодой барон подошел к матери:

– Мама, не доверяй Лакрису.

Ее передернуло. Но сейчас же она напустила на себя небрежность:

– Что ты хочешь этим сказать?... Он серьезный молодой человек, более серьезный, чем бывают в его возрасте; он занят важными делами; он...

Маленький барон Эрнест пожал сутулыми атлетическими плечами.

– Говорю тебе: не доверяйся. Он хочет подковать тебя на сто тысяч франков. Он просил, чтобы я помог ему выудить у тебя чек. Но пока обстоятельства не переменятся, я не вижу в этом особой нужды. Я стою за короля, но сто тысяч франков – это кругленькая сумма.

Рене Шартье пел:

Неверный, легкокрылый,
Спешишь от милой к милой.

Лакей подал баронессе письмо. Оно было от Бресе: будучи вынуждены уехать до 29-го, они приносили извинения в том, что не смогут присутствовать на благотворительном базаре, и посылали свою лепту.

Она протянула письмо сыну, который, злобно улыбнувшись, спросил:

– А Куртре?

– Они извинились вчера, так же как и генеральша Картье де Шальмо.

– Чучела!

– Будут Термондры и Громансы.

– Еще бы! Это их хлеб – бывать у нас.

Они обсудили положение. Дело обстояло плохо. Термондр, вопреки его обыкновению, не обещал притащить к ним своих кузин и теток, весь выводок мелкопоместных дворяночек. Даже крупная промышленная буржуазия, казалось, колебалась и искала предлога, чтобы увильнуть. Маленький барон подвел итог:

– Твой базар пошел прахом, мама! Нас засадили в карантин. Это яснее ясного.

Слова сына огорчили кроткую Элизабет. Ее красивое лицо, всегда озаренное улыбкой влюбленной женщины, омрачилось.

На другом конце зала, перекрывая бесчисленные шумы, возносился голос Ларжийера:

– Не то!.. Мы никогда не справимся.

– Слышишь! – сказала баронесса. – Он говорит, что мы не справимся к сроку. Не отложить ли празднество, раз оно не удалось?

– Ты, мама, у меня действительно рохля!.. Я не упрекаю тебя. Это в твоей натуре. Ты незабудка и незабудкой останешься. Я создан для борьбы. Я силен. Правда, я дышу на ладан, но...

– Дитя мое...

– Пожалуйста, без слез. Я дышу па ладан, но буду бороться до конца.

Голос Рене Шартье журчал, как чистый ручеек:

Всегда, всегда мечтаешь
О той, по ком сгораешь,
Вкусить желаешь вновь
Ту первую лю...

Аккомпанемент неожиданно прекратился, и раздался страшный шум.

Г-н Жермен гнался за герцогиней, которая убегала, схватив с рояля кольца аккомпаниатора. Она укрылась в монументальном камине, где на анжуйском шифере рельефом выделялись любовные забавы нимф и метаморфозы богов. И указывая оттуда на маленький кармашек своего лифа, она кричала:

– Здесь они, ваши кольца, моя старая Жермена. Приходите за ними... Вот вам щипцы Людовика Тринадцатого, чтоб их достать...

И она звякала под носом у музыканта огромными каминными щипцами.

Рене Шартье, свирепо вращая белками, бросил партитуру на рояль и заявил, что отказывается от роли.

– Не думаю, чтобы и Ливанкуры приехали, – со вздохом сказала сыну баронесса.

– Не все еще потеряно. У меня есть идея, – сказал маленький барон. – Надо уметь приносить жертву, когда это может быть полезно. Не говори ничего Лакрису.

– Не говорить Лакрису?

– Да, не говори ничего обязывающего. И предоставь мне действовать.

Он отошел от матери и направился к шумной группе хористов. Герцогине, попросившей у него еще коктейль, он спокойно ответил:

– Отстаньте от меня.

Затем он уселся подле Жозефа Лакриса, погрузившегося в размышления вдаль от других, и некоторое время о чем-то тихо говорил с ним. Вид у него был серьезный и убежденный.

– Это действительно так, – сказал он секретарю комитета роялистской молодежи. – Вы совершенно правы. Надо свергнуть республику и спасти Францию. А для этого нужны деньги. Моя мать того же мнения. Она предлагает внести аванс в размере пятидесяти тысяч франков в шкатулку короля для расходов на пропаганду.

Жозеф Лакрис поблагодарил от имени короля.

– Его величество будет счастлив узнать, – сказал он, – что ваша матушка присоединила свой патриотический дар к приношению трех французских дам, проявивших истинно рыцарскую щедрость. Будьте уверены, – добавил он, – что его величество засвидетельствует свою благодарность собственноручным письмом.

– Не будем об этом говорить, – сказал молодой барон.

И после краткого молчания добавил:

– Дорогой Лакрис, когда вы увидите Бресе и Куртре, скажите им, чтобы они приехали на наш маленький праздник.

XVII

Наступил, первый день нового года. Воспользовавшись тем, что стих не надолго проливной дождь, г-н Бержере и дочь его Полина выбрались из дому и пошли по улицам, покрывшимся свежей коричневой грязью. Они отправились с новогодними поздравлениями к тетке с материнской стороны, которая была еще жива, но жива только для себя, и то еле-еле, ютясь на улице Русле, среди перезвона монастырских колоколов, в тесном жилище, напоминавшем келью и выходявшем на огород. Полина была весела без всякой причины, только потому, что в эти праздничные дни, отмечающие бег времени, она ярче ощущала очарование своей расцветающей молодости.

Господина Бержере не покидала в этот торжественный день его обычная снисходительность, ибо, не ожидая больше ничего особенно хорошего от людей и жизни, он знал, подобно г-ну Фагону, что надо многое прощать природе. Нищие, выстроившиеся вдоль улиц, как канделябры или переносные алтари во время крестного хода, составляли украшение этого общественного празднества. Все они, все наши бедняки, члены нищенского братства, христарадники, жалкие и изможденные, кликуши-побируши, калеки и бродяги, лохмотники, воры-попрошайки, пришли украсить собой буржуазные кварталы. Но, подчиняясь всемирному потускнению жанров и приспособляясь ко всеобщему измельчанию нравов, они не выставляли напоказ, как во времена великого «коэсра», чудовищное уродство и ужасающие язвы. Они не обвязывали окровавленными тряпками свои искалеченные руки или ноги. Они были примитивны, демонстрировали только безобидные увечья. Один из них, ковыляя с удивительным проворством, довольно долго преследовал г-на Бержере. Затем он остановился и снова прирос, как фонарный столб, к краю тротуара.

Тогда г-н Бержере сказал дочери:

– Я только что совершил дурной поступок: я подал милостыню. Подав два су Колченожке, я испытал постыдную радость унижить своего ближнего, я поддержал отвратительный стговор, увековечивающий силу за сильным и слабость за слабым, скрепил своей печатью древнюю несправедливость, содействовал тому, чтобы этому человеку оставили лишь полдуши.

– Ты сделал все это, папа? – недоверчиво спросила Полина.

– Почти все, – ответил г-н Бержере. – Я продал своему брату

Колченожке братскую любовь, обвесив его. Я унизил себя, унизив его. Ибо милостыня одинаково позорит того, кто берет, как и того, кто дает. Я поступил дурно.

– Не думаю, папа, – сказала Полина.

– Не думаешь, – возразил г-н Бержере, – потому что не обладаешь философским мышлением и не умеешь извлекать из невинного на взгляд поступка бесчисленные последствия которые в нем заложены. Этот Колченожка заставил меня впасть в грех милостыни. Я не сумел устоять против назойливости его жалобного голоса. Я проникся состраданием к его тощей шее без ворота, к коленям, которым развихлявшиеся от долгого ношения штаны придали печальное сходство с коленями верблюда, к ногам в башмаках, похожих на двух уток с раскрытыми клювами. О искуситель! О опасный Колченожка! Колченожка великолепный! Благодаря тебе мое су породило какую-то частицу низости, частицу позора. Благодаря тебе я при помощи одного су создал еще одну крупницу зла и безобразия. Вручая тебе этот крохотный символ богатства и могущества, я иронически сделал тебя капиталистом и без всяких почестей приобщил тебя к пиршеству общества, к празднику цивилизации. И тотчас же я почувствовал, что я могущественная персона в твоих глазах, богач по сравнению с тобой, мой кроткий Колченожка, чудесный побирушка, льстец! Я возрадовался, я возгордился, я самовлюбленно утопал в своем богатстве и величии. Живи, Колченожка! *Pulcher hymnus divitiarum pauper immortalis.*^[1]

Гнусный обычай милостыни! Сердобольное варварство подаяния! Ветхозаветное заблуждение буржуа, который, подав грош, думает, что творит добро, и считает, что расквитался со своими братьями при посредстве самого бесславного, самого неудачного, самого смехотворного, самого глупого, самого жалкого средства, какое только может быть применено в целях лучшего распределения богатств. Этот обычай подавать милостыню противоречит понятию благодеяния и противен милосердию.

– Неужели? – спросила Полина с искренним интересом.

– Милостыня, – продолжал г-н Бержере, – имеет так же мало общего с благодеянием, как гримаса обезьяны с улыбкой Джоконды. Благодеяние так же изобретательно, как милостыня тупоголова. Оно наблюдательно, оно соразмеряет свои усилия с нуждами. Этим-то я и пренебрег в отношении моего брата Колченожки. В век философов самое слово «благодеяние/ возбуждало отраднейшие представления в чувствительных душах. Полагали, что это слово было изобретено добрейшим аббатом де Сен-Пьером. Но на самом деле оно древнее и встречается уже у нашего первого Бальзака. В шестнадцатом веке говорили: «благотворение». Это то же

самое слово. Признаюсь, я не чувствую в слове «благодаяние» его первоначальной красоты; оно опошлено для меня фарисеями, которые им злоупотребляли. У нас в ходу много благотворительных учреждений, ссудных касс, попечительств, обществ взаимного страхования. Некоторые из них полезны и оказывают действительные услуги. У них один общий недостаток: они – порождение того самого социального неравенства, которое призваны исправлять, и следовательно, представляют собой лекарство, несущее в себе заразу. Всеобщая благотворительность заключается в том, чтобы каждый жил своим трудом, а не чужим. Все, кроме взаимообмена а солидарности, гадко, постыдно бесплодно. Участие всех в производстве и в распределении продукции – вот где человеческое милосердие.

Оно – справедливость, оно – любовь, и беднякам оно доступнее, чем богачам. Кто из богачей когда-либо осуществлял его с такой полнотой, как Эпиктет или Бенуа Малон? Истинное милосердие – это передача всем людям того, что сделал каждый, это доброта во всей ее красе, это гармоническое движение души, наклоняющейся подобно амфоре с драгоценным нардом и изливающейся благодеяния, это Микель-Анджело, расписывающий Сикстинскую капеллу, или же депутаты Национального собрания ночью четвертого августа, это дары, поднесенные в блаженном изобилии, деньги, текущие вперемешку с любовью и мыслью. У нас нет никакого достояния, кроме нас самих. По-настоящему даешь только тогда, когда даешь свой труд, свою душу, свое дарование. И это великолепное подношение всего себя всему человечеству обогащает дарителя в такой же мере, как и всю общину.

– Но не мог же ты дать Колченожке любовь и красоту? – возразила Полина. – Ты дал ему то, что ему больше всего подходило.

– Правда, Колченожка оскотинился. Из всех благ, могущих порадовать человека, он ценит только алкоголь. Я сужу об этом по тому, что от него разило водкой, когда он ко мне приблизился. Но таков, каков он есть, он создан нами. Наше неравенство было ему отцом, наша гордыня – матерью. Он – скверный плод наших пороков. Всякий человек, живущий в обществе, должен давать и получать. Этот малый, вероятно, дал недостаточно, потому что недостаточно получил.

– Быть может, он лентяй, – сказала Полина. – Господи, как же нам сделать так, чтобы не было больше ни бедных, ни слабых, ни ленивых? Разве ты не думаешь, что люди добры от природы и лишь общество делает их злыми?

– Нет. Я не думаю, чтобы люди были добры от природы, – ответил г-н

Бержере, – напротив, я вижу, что люди лишь с трудом и мало-помалу выходят из состояния первородного варварства и с большими усилиями создают ненадежную справедливость и зыбкую доброту. Далеко еще то время, когда они будут ласковы и благожелательны друг к другу. Далеко еще то время, когда они перестанут воевать между собой и когда батальные картины будут скрыты от глаз, как безнравственные и зазорные. Думаю, что царство насилия продлится еще долго, что еще долго народы будут драться между собой по пустым поводам, что еще долго граждане одной и той же страны будут остервенело вырывать друг у друга необходимые блага жизни, вместо того чтобы произвести справедливое распределение. Но я думаю также, что люди менее свирепы, когда они менее несчастны, что прогресс промышленности способствует постепенному смягчению нравов, и я слышал от одного ботаника, что боярышник, пересаженный из сухой почвы в более тучную, меняет шипы на цветы.

– Видишь, папа, ты оптимист! Я так и знала! – воскликнула Полина, остановившись посреди тротуара, чтобы устремить на отца мгновенный взгляд серых, как рассвет, глаз, напоенных мягким сияньем и утренней свежестью. – Ты оптимист. Ты от всей души трудишься над постройкой дома будущего. Да, это хорошо! Хорошо строить новую республику с людьми, которые стремятся к добру.

Эти слова надежды и взгляд ясных глаз заставили г-на Бержере улыбнуться.

– Да, – сказал он, – было бы хорошо создать новое общество, где каждый получил бы полную цену за свой труд.

– Не правда ли, это так будет?... Но когда? – простосердечно спросила Полина.

А г-н Бержере ответил кротко, но не без грусти:

– Не требуй от меня прорицаний, дитя мое. Древние не без причины считали способность заглядывать в будущее самым зловещим даром для человека. Если бы мы могли предвидеть то, что произойдет, нам осталось бы только умереть, и мы, может статься, пали бы, сраженные молнией скорби и ужаса. Над созданием будущего надо работать так, как ковровщики работают над шпалерами, – не глядя.

Так беседовали по дороге отец с дочерью. Перед сквером на Севрской улице они увидели попрошайку, прочно угнездившегося на тротуаре.

– У меня больше нет мелочи, – сказал г-н Бержере. – Нет ли у тебя десяти су, Полина? Эта протянутая рука загораживает мне дорогу. Даже на площади Согласия она загородила бы мне всю площадь. Протянутая рука нищего – это преграда, через которую я не в силах перешагнуть. Не могу

преодолеть своей слабости. Подай этому оборвышу. Тут нет еще большого преступления. Не надо преувеличивать зло, которое делаешь.

– Папа, мне не терпится узнать, как ты поступишь с Колченожкой в своей республике? Ты ведь не предполагаешь, что он станет жить плодами своего труда?

– Полагаю, дочка, – ответил г-н Бержере, – что он согласится исчезнуть. Он уже и сейчас съежился. Лень, склонность к покою располагают его к окончательному исчезновению. Он с легкостью перейдет в небытие.

– Напротив, я думаю, что он привязан к жизни.

– Конечно, у него есть свои радости. Он безусловно с наслаждением поглощает кабацкое зелье. Он испарится вместе с последним трактирщиком. В моей республике не будет виноторговцев. Не будет ни покупателей, ни продавцов. Не будет ни богатых, ни бедных. Каждый будет пользоваться плодами своего труда.

– Мы все станем счастливы, папа.

– Нет, так как одновременно со страданием погребло бы и чувство святого милосердия, являющееся красой души. Этого не случится. Подобно тому как дни будут сменяться ночами, моральное страдание и физическое страдание, то и дело вытесняемые, будут то и дело чередовать свое господство на земле с радостью и со счастьем. Страдание необходимо. Оно вытекает из того же глубокого источника природы, как и радость, и одно не иссякнет без другого. Мы счастливы только потому, что мы несчастны. Страдание – сестра радости, и дыхание этих близнецов, касаясь наших душевных струн, заставляет их звучать гармонически. Дыхание одного только счастья издавало бы монотонный и скучный звук, равноценный безмолвию. Но к неизбежным страданиям, к тем одновременно низменным и величественным страданиям, которые присущи человеческой природе, уже не присоединятся страдания искусственные, порожденные природой нашего социального строя. Людей больше не будет уродовать непосильный труд, от которого они не столько живут, сколько умирают. Рабы освободятся из смиренных домов, а фабрики не будут больше пожирать тела миллионов людей.

Этого освобождения я жду от самой машины. Машина, размолвша столько народу, придет постепенно и великодушно на помощь слабому человеческому телу. Машина, прежде суровая и жестокая, станет доброй, благожелательной, дружелюбной. Как же она изменит свою душу? Слушай. Это чудо совершит искра, сверкнувшая из лейденской банки, воздушная звездочка, представшая в прошлом столетии перед взорами изумленного

физика. Незнакомка, давшая себя победить, но не назвавшая себя, таинственная, но пленная сила, схваченная руками, послушная молния, заключенная в банку и растекающаяся по бесчисленным нитям, сетью покрывающим землю, – словом, электричество понесет свою энергию, свою помощь туда, где это понадобится: в дома, в комнаты, к очагу, подле которого усядутся отец, мать и дети, теперь уже никем не разлучаемые. Злобная машина, измолвшая на фабриках тела и души, станет ручной, родной и близкой. Но все это не приведет ни к чему, не приведет решительно ни к чему, если блоки, шестерни, шатуны, рычаги, салазки, маховые колеса очеловечатся, а человеческие сердца останутся железными.

Мы шлем свои пожелания, свои призывы навстречу еще более чудесному превращению. Наступит день, когда предприниматель, нравственно преображаясь, станет в ряды освобожденных рабочих, когда обмен благами заменит заработную плату. Крупная промышленность, как и родовая аристократия, которую она сменила и которой подражает, переживет свое четвертое августа. Она откажется от оспариваемых прибылей и от привилегий, находящихся под угрозой. Она будет великодушной, когда почувет, что время этого требует. А что нынче говорит предприниматель? Что он – душа и мысль и что без него армия рабочих была бы телом без разума. Так вот! Если он олицетворяет мысль, то пусть и ограничится этой честью и этим удовольствием. Если он мысль и разум, то следует ли из этого, что он должен захлебываться в богатствах? Когда великий Донателло отливал со своими учениками какую-нибудь бронзовую статую, он был душой творения. Плату, полученную от герцога и от горожан, он клал в корзину, которую вздергивал на блоке к потолочной балке мастерской. Каждый ученик поочередно отвязывал веревку и брал из корзинки соразмерно своим надобностям. Разве не достаточно самого удовольствия творить при помощи разума, и это преимущество освобождает ли старшего мастера от обязанности делиться заработком со своими скромными помощниками? Но в моей республике не будет ни прибылей, ни заработной платы, и все будет принадлежать всем.

– Папа, ведь это же коллективизм, – спокойно сказала Полина.

– Самые драгоценные блага, – ответил г-н Бержере, – принадлежат всем людям и всегда им принадлежали. Воздух и солнце составляют общее достояние всех, кто дышит и кто видит дневной свет. После вековых ухищрений эгоизма и жадности и вопреки всем яростным стремлениям отдельных личностей захватить и удержать сокровища, – те личные блага, которые принадлежат наиболее богатым из нас, ничтожно малы в сравнении с тем, что составляет общее достояние. И разве ты не видишь,

что даже в нашем обществе все самые милые человеку и великолепные блага: дороги, реки, прежние королевские леса, библиотеки, музеи, – принадлежат всем? У меня такое же *право* на старый дуб в Фонтенебло или на картину в Лувре, как у *любого* богача, И даже они больше – мои, чем его, если я лучше умею ими наслаждаться. Коллективная собственность, которой все страшатся, как чудовища, грозящего откуда-то издали, уже окружает нас в тысячах привычных форм; Пугаются вести о грядущем ее приходе, а сами уже сейчас пользуются ее преимуществами.

Позитивисты, собирающиеся в доме Огюста Конта вокруг почтенного Пьера Лафита, не торопятся стать социалистами. Но один из них вполне правильно заметил, что собственность – социального происхождения. И мысль эта в высшей степени справедлива, ибо всякая собственность, приобретенная личным усилием, может возникнуть и существовать только благодаря содействию всего общества. А раз частная собственность происходит из социального источника, то разве мы пренебрегаем ее происхождением или извращаем ее суть, распространяя ее на все общество и передавая государству, от которого она непреложно зависит?

Мадемуазель Бержере поторопилась ответить на этот вопрос:

– Государство, милый папа, это насупленный и неучтивый господин, сидящий за служебным окошечком. Ты понимаешь, что ради него никто не станет расставаться со своими пожитками.

– Понимаю, – с улыбкой ответил г-н Бержере, – Я всегда стремился понимать и затратил на это немало драгоценной энергии. Убеждаюсь с опозданием, что непонимание – великая сила. Оно иногда позволяет завоевать целый мир. Если бы Наполеон был так же умен, как Спиноза, он написал бы четыре тома, весь век просидев в какой-нибудь мансарде. Да, я понимаю. Но этому насупленному и неучтивому господину, сидящему за окошечком, ты доверяешь, Полина, свои письма, которых не доверила бы агентству Трикош. Он управляет частью твоего имущества, и далеко не самой ничтожной и не самой малоценной. Лицо его кажется тебе угрюмым. Но когда он будет всем, он будет ничем. Или точнее, он будет лишь нами самими. Уничтоженный своей всеобщностью, он перестанет казаться буквой. Нельзя быть злобным, дочка, когда ты превратился в ничто. Неприятно в данный момент то, что он обгладывает личную собственность, запуская в нее свои когти и зубы, и охотней вгрызается в тощих, чем в тучных. Это делает его невыносимым. Он алчен. У него есть потребности. В моей республике он будет без желаний, подобно богам. У него будет все и не будет ничего. Мы перестанем его ощущать, потому что он сольется с нами и всякое отличие сотрется. Он будет таким, как если бы его не было.

По-твоему, личность я приношу в жертву государству, а жизнь – отвлеченной мысли. Напротив, я подчиняю абстракцию реальности, уничтожаю государство, отождествляя его со всей социальной деятельностью людей.

Если бы даже такой республике не суждено было никогда осуществиться, мне все же радостно было бы лелеять эту мысль о ней. Не возбраняется возводить постройки на острове Утопии. И даже сам Огюст Конт, похвалявшийся тем, что он опирается только на данные позитивной науки, поместил Кампанеллу в месяцеслов великих людей.

Мечта философов во все времена вдохновляла людей действия, и те трудились над ее осуществлением. Наша мысль создает будущее. Государственные мужи работают по планам, достаемым им в наследство после нашей смерти. Они наши каменщики и чернорабочие. Нет, дочка, я не возвожу построек на острове Утопии. Моя мечта, которая принадлежит не только мне и в данный момент витает перед тысячами и тысячами душ, – мечта правдивая и пророческая. Всякое общество, органы которого не соответствуют больше своему назначению и члены которого не получают питания в меру производимой ими работы, умирает. Глубокие потрясения, внутренние беспорядки предшествуют его кончине и предвещают ее.

Феодальное общество было построено прочно. Но когда духовенство перестало быть носителем знания, а дворянство перестало защищать хлебопашца и ремесленника своим мечом, когда эти два сословия стали разбухшими и вредными частями тела, все тело погибло; неожиданная, но необходимая революция принесла смерть больному. Кто станет утверждать, что в современном обществе органы соответствуют своему назначению и все части тела получают питание в меру производимой работы? Кто станет утверждать, что богатства распределены справедливо? Кто, наконец, может верить, что неравенство будет вечно?

– А как уничтожить его, папа? Как изменить мир?

– Словом! Нет ничего могущественнее слова, дитя мое. Веские доводы в соединении с возвышенными мыслями представляют собой цепь, которую невозможно разорвать. Слово, как праща Давида, разит насильников и повергает долу могучих. Это непобедимое оружие. Без него мир стал бы достоянием вооруженных скотов. Кто же их сдерживает? Одна только мысль, безоружная и нагая.

Мне не доведется увидеть царство будущего. Все перемены в социальном строе, как и в строе природы, происходят медленно и почти незаметно. Вдумчивый геолог Чарльз Лайелл доказал, что эти страшные

следы ледникового периода, эти гигантские скалы, сброшенные в долины, эти мохнатые животные и эта флора холодных стран, сменившие флору и фауну жарких стран, эти отпечатки катаклизмов являются фактически результатом многих и длительных процессов и что великие перемены, произведенные с милосердной медлительностью силами природы, не были даже замечены бесчисленными поколениями живых существ, присутствовавших при этом. Социальные преобразования происходят так же незаметно и медленно. Робкий человек страшится катаклизмов будущего, не сознавая, что эти катаклизмы начались еще до его рождения, происходят на его глазах незаметным для него образом и обнаружатся только спустя столетие.

XVIII

Господин Феликс Панетон медленным шагом шел вверх по проспекту Елисейских полей. Направляясь к Триумфальной арке, он высчитывал шансы своей кандидатуры на выборах в сенат. Ее пока еще не выставляли. И г-н Панетон думал, как Бонапарт: «Действовать, взвешивать, действовать...» Два списка уже были предложены департаментским избирателям. Четыре выбывавших сенатора – Лапра-Теле, Гоби, Манекен и Ледрю баллотировались вновь. Националисты выставляли кандидатами герцога де Бресе, полковника Депотера, г-на Лерона, судейского в отставке, и мясника Лафоли.

Трудно было предугадать, который из двух списков одержит верх. Выбывавшие сенаторы снискали доверие мирного населения департамента благодаря своему долгому опыту в области законодательной власти и как хранители тех традиций, одновременно либеральных и авторитарных, которые восходили ко времени основания республики и были связаны с легендарным именем Гамбетты. Они снискали доверие благодаря разумно оказанным услугам и обильным обещаниям. За них стояла многочисленная и дисциплинированная клика. Эти общественные деятели, современники великих эпох, оставались верны своим убеждениям со стойкостью, выставлявшей в выгодном свете некоторые их вынужденные жертвы общественному мнению. Старые оппортунисты, они называли себя теперь радикалами. В эпоху «Дела» все четверо проявили глубокое уважение к военным судам, и один из них проявлял его даже с умилением. Бывший стряпчий Гоби говорил о военном правосудии не иначе как со слезами. Старейший по годам, республиканец героических дней, участник великих боев Лапра-Теле высказывал свое мнение о национальной армии в таких нежных и прочувствованных выражениях, которые в другие времена были бы скорее уместны по отношению к бедной сиротке, нежели к столь многолюдному учреждению, обладавшему столькими миллиардами. Эти четыре сенатора голосовали за закон о кассации, а в департаментском совете выразили пожелание, чтобы правительство приняло крутые меры к обузданию тех, кто требовал пересмотра «Дела». Таковы были дрейфусары департамента. А так как других не было, то они подвергались бешеным нападкам со стороны националистов. Манекену ставили в упрек то, что он приходился зятем члену кассационного суда. Что же касается Лапра-Теле, возглавлявшего избирательный список, то его ругали напрапалую, в него

плевали, да так, что ослюнявили весь список, За ним числилось дело, прекращенное по недостатку улик, и было доподлинно известно, что он занимался спекуляцией. Помнили время, когда скомпрометированный в Панамском процессе, он, находясь под угрозой ареста, отрастил себе седую бороду, придававшую ему благообразный вид, и заставлял свою благочестивую супругу и дочку, одетую под монашку, возить его в кресле для паралитиков. В сопровождении этой свиты, от которой веяло смирением и святостью, он появлялся каждый день под вязами в городском саду; бедный паралитик грелся на солнышке, чертя наконечником трости по пыльной земле, в то время как его изворотливый ум подготавливал доводы для защиты. Но защита оказалась излишней: судебное преследование было прекращено. С тех пор он опять поднял голову. Однако националисты яростно взъелись на него. Он был панамистом – его сделали дрейфусаром. «Этот человек, – говорил Ледрю, – провалит весь список». Он поделился своими опасениями с Вормс-Клавленом:

– Господин префект, Лапра-Теле оказал крупные услуги республике и стране, но нельзя ли дать ему попять, что его час пробил и пора ему вернуться к частной жизни?

Префект ответил, что надо дважды подумать, прежде чем обезглавить республиканский список.

Между тем газета «Крест», распространявшаяся в департаменте стараниями г-жи Вормс-Клавлен, вела бешеную кампанию против выбывающих сенаторов. «Крест» поддерживал умело составленный список националистов. Герцог де Бресе объединял довольно многочисленных роялистов в департаменте. Г-н Лерон, бывший судейский, ныне адвокат конгрегации, снискал симпатии духовенства; полковник Депотер, сам по себе невидный старец, представлял честь армии; он расточал похвалы фальсификаторам и участвовал в подписке в пользу вдовы Анри. Мясник Лафоли нравился рабочим предместья, остававшимся в сущности полукрестьянами. Уже появились основания предполагать, что список Бресе получит более двухсот голосов и может, пожалуй, пройти. Г-н Вормс-Клавлен испытывал беспокойство. Он окончательно встревожился, когда «Крест» опубликовал воззвание националистских кандидатов. Это воззвание поносило президента республики, сравнивало сенат со скотным двором и свинарником, называло кабинет – министерством измены. «Если эти люди пройдут, мне каюк!» – подумал префект. И он втихомолку сказал жене:

– Напрасно, моя дорогая, ты содействовала распространению «Креста» в департаменте.

На это г-жа Вормс-Клавлен ответила:

– Чего ты хочешь? Как еврейка, я должна была преувеличивать свои католические симпатии. До сих пор это нам очень помогало.

– Конечно, – возразил префект. – Но мы, быть может, пересолили.

Правитель канцелярии префектуры г-н Лакарель, которого сходство с Верцингеториксом предрасполагало к национализму, подсчитывал шансы, какими располагал список Бресе. Префект Вормс-Клавлен, погруженный в мрачные думы, забывал на подлокотниках кресел свои обдушенные и непогашенные сигары.

Именно в ту пору к нему зашел г-н Феликс Панетон. Г-н Феликс Панетон, младший брат Панетона де ла Барж, был поставщиком интендантства. Нельзя было заподозрить его в нелюбви к армии, которую он обувал и снабжал фуражками. Он был националистом, но националистом государственного пошиба. Он был националистом, поддерживавшим Лубе, националистом, поддерживавшим Вальдек – Руссо. Он не скрывал этого, а когда ему говорили, что так невозможно, он отвечал:

– Почему невозможно? Наоборот – даже очень просто. Надо только додуматься.

Панетон-националист оставался сторонником правительства.

«Можно во всякое время отречься от него, – размышлял он, – но все, кто ссорился с ним слишком рано, жалели потом об этом. Недостаточно учитывают, что даже уже поверженное правительство еще может лягнуть вас и раздробить вам челюсть».

Это мудрое рассуждение являлось плодом его светлого ума и основывалось на том, что как поставщик интендантства он зависел от министерства. Он отличался честолубием, но старался удовлетворить его без вреда для своих дел и удовольствий, каковые заключались для него в картинах и в женщинах. Вообще же он был человек деятельный, беспрерывно кочевавший между своими заводами и Парижем, где снимал три-четыре квартиры.

Однажды ему пришло на ум втиснуть свою кандидатуру между списками радикалов и крайних националистов, и, явившись к префекту Вормс-Клавлену, он сказал ему:

– То, что я хочу вам предложить, господин префект, может быть вам только приятно. Я заранее уверен в вашем одобрении. Вы желаете успеха списку Лапра-Теле. Это ваш долг. Я уважаю ваши чувства в этом отношении, но не могу их поддержать. Вы боитесь успеха списка Бресе. Что ж, вполне законно. Вместе с тремя друзьями я составляю список кандидатов-националистов. Этот департамент – националистский, но

умеренно националистский. Моя программа будет и националистской и республиканской. Против меня ополчатся конгрегации. Но меня поддержит епархия. Не нападайте на меня. Соблюдайте по отношению ко мне благожелательный нейтралитет. Я отниму очень мало голосов у партии Лапра, но зато очень много у партии Бресе. Не скрою от вас, что надеюсь восторжествовать только на третьем туре. Но этим я ведь тоже сыграю вам на руку, так как крайние правые лягут костями. Префект Вормс-Клавлен ответил:

– Господин Панетон, вы давно пользуетесь моей личной симпатией. Благодарю вас за интересное сообщение, которое вы любезно мне сделали. Я обдумаю его и поступлю так, как того требует польза республики, считаясь при этом с намерениями правительства.

Он предложил г-ну Панетону сигару и затем дружелюбно спросил его, не из Парижа ли он сейчас и не видал ли новой пьесы в Варьете. Он задал этот вопрос, так как знал, что Панетон содержал актрису из этого театра. Феликса Панетона считали большим женолюбом. Это был толстый человек, лет пятидесяти, лысый, с остатком черных волос на висках, сутулый, некрасивый и слывший за остряка.

Несколько дней спустя после встречи с префектом Вормс-Клавленом он поднимался вверх по Елисейским полям, размышляя о своей кандидатуре, шансы которой рисовались в довольно благоприятном свете и которую надлежало выдвинуть возможно скорее. Но в тот самый момент, когда предстояло обнародовать список, возглавляемый Панетоном, один из кандидатов, г-н де Термондр, уклонился. Г-н де Термондр был слишком умеренным, чтобы решиться порвать с крайними правыми. Он вернулся к ним, когда они усилили свои крики.

«Так и знал! – рассуждал г-н Панетон. – Но беда не велика. Возьму Громанса вместо Термондра. Громанс вполне подойдет. Громанс – помещик. У него нет ни одного гектара земли, который не был бы заложен. Но это повредит ему только в его округе. Он в Париже. Зайду к нему».

Но когда он дошел до этого пункта своих размышлений и своей прогулки, он увидел г-жу де Громанс в манто из американской куницы, спадавшем до самых пят. Ее фигура не теряла своей грации и стройности под пышным мехом. Она показалась ему в этом виде особенно очаровательной.

– Счастливы вас встретить, сударыня. Как поживает господин де Громанс?

– Хо...ро...шо...

Когда ее спрашивали о муже, она всегда опасалась иронии дурного

тона.

– Позвольте мне немного пройтись с вами, сударыня. **Мне** нужно... сперва... поговорить о серьезном деле.

– Говорите.

– Ваше манто придает вам свирепый вид, вид прелестной молоденькой дикарки...

– Это, по-вашему, серьезное дело?...

– Перехожу к нему. Необходимо, чтобы господин де Громанс выставил свою кандидатуру в сенат. Этого требуют интересы родины. Господин де Громанс националист, не правда ли?

Она взглянула на него с некоторым негодованием:

– Разумеется, не интеллигент же!

– И республиканец.

– Бог мой, конечно! Я вам сейчас объясню. Он роялист...

И вы понимаете...

– О сударыня! Такие республиканцы самые лучшие.

Мы поместим его имя на видном месте в списке республиканцев-националистов.

– И вы думаете, что Дъедоне пройдет?

– Думаю, сударыня. За нас епархия и много сенатских избирателей; они националисты по убеждению и по чувству, но связаны с правительством службой и личными интересами. А в случае неудачи, которая может быть только почетной, господин де Громанс вправе рассчитывать на признательность администрации и правительства. Скажу вам под большим секретом: Вормс-Клавлен на нашей стороне..

– В таком случае не вижу никаких препятствий к тому, чтобы Дъедоне...

– Вы ручаетесь за его согласие?

– Поговорите с ним сами.

– Он слушается только вас.

– Вы думаете?

– Уверен.

– В таком случае, решено.

– Нет, еще не решено. Есть некоторые очень деликатные детали, и нельзя их уточнить здесь, на улице... Навестите меня. Я покажу вам своих Бодуэнов. Приходите завтра.

И он шепнул, ей на ухо номер дома на одной из пустынных, сонных улиц Европейского квартала. Там, на почтительном расстоянии от его официальной просторной резиденции на Елисейских полях, у него был

небольшой особняк, некогда выстроенный для одного светского живописца.

– Разве это так спешно?

– О, очень спешно! Подумайте, сударыня: нам не остается и трех недель для нашей предвыборной кампании, а Бресе обрабатывает департамент уже полгода.

– Но так ли необходимо, чтобы я непременно у вас побывала?

– А мои Бодуэны... Крайне необходимо.

– Вы думаете?

– Выслушайте и судите сами, милая госпожа де Громанс. Ваш супруг пользуется известным престижем – не стану этого отрицать – у сельского населения, в особенности в тех кантонах, где он мало известен. Но не могу также скрыть, что, когда я предложил включить его в наш список, я встретил некоторое сопротивление. Оно еще не улеглось. Дайте мне силу его побороть. Необходимо, чтобы я почерпнул в вашей... в вашей дружбе ту непреодолимую волю, которая... Словом, я чувствую, что, если вы не наградите меня всем вашим расположением, у меня не хватит нужной энергии, чтобы...

– Но это не очень прилично пойти посмотреть ваших...

– О! в Париже!..

– Если я приду, то только ради родины и ради армии. Надо спасти Францию.

– Я того же мнения.

– Сердечный привет госпоже Панетон.

– Не премину передать, сударыня. До завтра.

XIX

В маленьком особняке г-на Панетона есть большая комната, прежде служившая мастерской светскому живописцу, а теперь обставленная новым владельцем с великолепием, достойным богатого любителя редкостей, и с умением опытного знатока женщин. Г-н Панетон расположил там со вкусом и определенным расчетом канапе, софы, диваны разных форм.

При входе взгляд, переходя справа налево, прежде всего наткнулся на маленькое канапе, обитое голубым шелком, с локотниками в виде лебединых шей, напоминавшими о временах, когда Бонапарт в Париже, подобно Тиберию в Риме, исправлял нравы; дальше – другое канапе, пошире, со спинкой и прислонами, обтянутыми бовейским штофом; затем кушетка с тройным шелковым сидением; за ней – деревянная софа-капуцин, обитая турецкой тканью; потом большая софа золоченого дерева, крытая ярко малиновым узорчатым бархатом, принадлежавшая мадемуазель Дамур; наконец поместительный низкий мягкий диван с обивкой из пунцового атласа. А уж дальше виднелась только груда пуховых подушек на очень низком восточном диване, который был погружен в розовый полумрак и непосредственно примыкал к комнате налево, где висели Бодуэны.

Так как еще при входе можно было охватить взором все эти сидения, то каждой посетительнице предоставлялась возможность выбрать то, которое больше всего соответствовало ее душевному складу и настроению минуты. Панетон присматривался к новым подругам с первого же их шага, следил за их взглядами, умел угадывать их вкусы и старался, чтобы они уселась там, где им хотелось сидеть. Более застенчивые направлялись прямо к маленькому голубому канапе и клали левую руку на лебединую шею. Имелось там даже высокое позолоченное кресло, крытое генуэзским бархатом, некогда служившее тронem герцогине моденской и пармской; оно предназначалось для гордечек. Парижанки спокойно усаживались на бэвейское канапе. Иностранные титулованные особы направлялись обычно к одной из двух соф. Пользуясь этим хитроумным расположением салонной мебели, Панетон тотчас угадывал, как ему надлежало поступить. Он имел возможность тщательно соблюдать приличия, избегая слишком резких переходов от одной из неизбежных стадий к другой и избавляя посетительницу и себя самого от излишних длинных пауз между первым обменом учтивостями и осмотром Бодуэнов. Благодаря этому его приемы

приобретали уверенность и мастерство, делавшие ему честь.

Госпожа де Громанс тотчас же обнаружила такт, за который Панетон был ей признателен. Даже не взглянув на пармский и моденский трон и пройдя мимо лебединой шеи эпохи консульства, она, как парижанка, сразу направилась влево и опустилась на бовейское канапе. Клотильда долго коснела среди мелкопоместного дворянства департамента, изредка заводя романы с никчемными, плохо воспитанными молодыми людьми. Но постепенно она приобретала жизненный опыт. Денежные затруднения заметно заострили ее ум, и она начала постигать сущность общественного долга. Панетон но был ей очень противен. Этот влюбленный апоплектик, пучеглазый и лысый, с прилипшими на висках черными прядями, вызывал в ней легкое желание рассмеяться и соответствовал комической жилке, которую она проявляла в любовных делах. Разумеется, она предпочла бы великолепного красавца, но неприятная шутовость была ей по душе, а приперченные остроты и даже некоторая доля безобразия в мужчине доставляли ей удовольствие. После первого момента естественной неловкости она почувствовала, что ничего страшного и даже слишком скучного тут не будет.

И действительно: все сошло очень хорошо. Переход от бовейского канапе на кушетку и с кушетки на большую софу совершился самым приличным образом. Сочли излишним задерживаться на восточных подушках и прямо перешли в комнату Бодуэнов.

Когда Клотильда вздумала, наконец, на них взглянуть, по всей комнате, как на картинах этого эротического художника, были разбросаны принадлежности женского туалета и тонкое белье.

– А, вот они, ваши Бодуэны! У вас их два.

– Да.

У него был «Галантный садовник» и «Опустевший колчан», две маленькие гуаши, которые стоили ему по шестьдесят тысяч франков каждая на аукционе Годара, а благодаря своеобразному применению обходились ему, чем дальше, тем дороже и дороже.

Теперь он глазом знатока, совсем уже спокойно и даже слегка меланхолично, рассматривал эту тонкую, изящную, гибкую фигуру женщины; ее красота щекотала его самолюбие, и все сильнее по мере того как она, облакаясь в свои одежды, восстанавливала и свой общественный облик.

Она осведомилась, из кого состоит список кандидатов.

– Панетон, промышленник; Дьедоне де Громанс, помещик; доктор Форнероль; Мюло, путешественник.

– Мюло?

– Мюло-сын. Он делал долги в Париже. Мюло-отец отправил его в кругосветное путешествие. Дезире Мюло, путешественник. Кандидат-путешественник – это превосходно. Избиратели надеются, что он откроет новые рынки сбыта для их продукции. А главное – им лестно.

Госпожа де Громанс превращалась опять в деловую женщину. Она пожелала ознакомиться с содержанием декларации, обращенной к сенатским выборщикам. Панетон вкратце изложил ее, приводя некоторые места наизусть.

– Прежде всего мы обещаем умиротворение. Бресе и крайние националисты недостаточно настаивали на умиротворении. Затем мы клеймим безымянную партию.

– Что такое безымянная партия?

– Для нас это партия наших противников. Для противников ото наша. Здесь не может быть места для недоразумений... Мы клеймим изменников и тех, кто продался. Мы ополчаемся против власти денег. Это наш козырь в отношении разорившегося дворянства. Враги всякой реакции, мы отвергаем политику авантюр. Франция решительно желает мира. Но в день, когда она извлечет шпагу из ножен... и так далее. Родина с гордостью и нежностью обращает взоры на свою превосходную национальную армию... Эту фразу придется немного изменить.

– Почему?

– Потому что она буквально повторяется в двух других декларациях: у националистов и у врагов армии.

– И вы мне обещаете, что Дьедоне пройдет.

– Дьедоне или Гоби.

– Как? Дьедоне или Гоби? Если вы не были уверены, то должны были меня предупредить... Дьедоне или Гоби!.. Если вас послушать, то можно подумать, что это одно и то же.

– Это не одно и то же. Но в обоих случаях Бресе провалится.

– Вы знаете, что Бресе наш друг.

– И мой тоже! В обоих случаях, повторяю вам, Бресе провалится со своим списком, а господин де Громанс, содействуя его поражению, приобретет право на благодарность со стороны префекта и правительства. После выборов, независимо от их результатов, вы опять придете посмотреть на моих Бодуэнов, и я сделаю вашего мужа... чем вы захотите?

– Послом.

На выборах 21 января кандидаты списка националистов: граф де

Бресе, полковник Депотер, отставной судейский Лерон, мясник Лафоли – получили, в среднем, по сто голосов. Список республиканцев-прогрессистов: Феликс Панетон, Дъедоне де Громанс, помещик, Мюло-путешественник, доктор Форнероль, – в среднем, по сто тридцать голосов. Лапра-Теле, скомпрометированный в Панамском процессе, смог собрать только сто двадцать голосов. Три прочих – выбывавшие сенаторы, республиканцы-радикалы – набрали, в среднем, по двести голосов.

Во втором туре Лапра-Теле отпал, получив лишь шестьдесят голосов.

В третьем туре оказались избранными: выбывшие сенаторы-радикалы, Гоби, Манекен и Ледрю, а также Феликс Панетон.

– Взгляните на это зрелище, – сказал г-н Бержэре, стоя на ступеньках Трокадеро, своему ученику г-ну Губену, протиравшему стекла пенсне. – Вот купола, минареты, шпили, колокольни, башни, фронтоны, крыши – соломенные, шиферные, застекленные, черепичные, деревянные, из поливных изразцов и из звериных шкур, террасы итальянские и террасы мавританские, дворцы, храмы, пагоды, киоски, лачуги, хижины, шатры, водяные и огненные каскады, контрасты и гармония человеческих жилищ, феерия труда, чудесная игра промышленности, гигантская забава современного гения, пересадившего сюда искусства и ремесла всего мира.

– Полагаете ли вы, – спросил его г-н Губен, – что Франция извлечет какие-нибудь выгоды из этой грандиозной выставки?

– Она может добиться большой пользы, – ответил г-н Бержэре, – если только не поддастся бесплодной и зловредной кичливости. Ведь это лишь декорации и наружная оболочка. Более глубокое исследование позволит сделать выводы относительно обмена и обращения продукции, потребления по доступным ценам, роста заработной платы и занятости в производстве, эмансипации рабочих. И разве вас не поражает, г-н Губен, один из первых результатов Всемирной выставки? Ведь она тотчас же обратила в бегство Жана Петуха и Жана Барана. Где они, Жан Петух и Жан Баран? О них – ни слуху, ни духу. А прежде, куда ни глянь, они тут как тут. Жан Петух шел впереди, хвост трубой, ноги тетивой. Жан Баран шагал позади, курчавый и жирный. По всему городу звенели их «кукареку» и «бе-бе-бе», ибо они были велеречивы. Я слышал однажды этой зимой, как Жан Петух говорил:

– Надо объявить войну. Правительство своим низким поведением сделало ее необходимой.

А Жан Баран отвечал:

– Я ничего не имею против морской войны.

– Конечно, – сказал Жан Петух, – наумахия воодушевила бы национальные чувства. А почему бы нам не вести войны на море и на суше? Кто нам мешает?

– Никто, – отвечал Жан Баран. – Хотел бы я посмотреть на того, кто нам в этом помешает! Но прежде надо истребить изменников и продажных тварей, жидов и франкмасонов. Это необходимо.

– Я того же мнения, – заявил Жан Петух. – Я не пойду, на войну,

прежде чем родная земля не будет очищена от всех наших противников.

Жан Петух пылок, Жан Баран мягок. Но оба они слишком хорошо знают, как усилить националистическую прыть и как ухитриться всеми возможными способами обеспечить родине блага гражданской войны и войны с иноземцами.

Жан Петух и Жан Баран республиканцы. Жан Петух голосует на всех выборах за кандидата из приверженцев императорской власти. Жан Баран – за кандидата из приверженцев королевской власти; но оба они сторонники плебисцитарной республики, ибо считают, что лучший способ установить удобное им правительство – воспользоваться игрой случая на шумных голосованиях с неведомым исходом. Это показывает, что они люди смышленные. В самом деле, разве вам не выгодно, владея домом, поставить его при игре в кости против охапки сена; ведь вы в таком случае можете выиграть свой собственный дом, а это уж не такое плохое дело.

Жан Петух не набожен, а Жан Баран не клерикал, хотя и не вольнодумец; но и тот и другой чтут и блюдут монашескую братию, которая наживается на чудесах и сочиняет поносные, вводящие в соблазн и клеветнические бумажки. А вам ли не знать, что черноризцы кишмя кишат на нашей земле и ее пожирают!

Жан Петух и Жан Баран патриоты. Вы тоже считаете себя патриотом и чувствуете себя связанным со своей страной невидимыми и сладостными узами любви и разума. Но это заблуждение, и раз вы хотите жить в мире со всем миром, значит, вы приспешник иноземщины. Жан Петух и Жан Баран докажут вам это, отдубасив вас узловатой дубинкой под боевой клич: «Франция для французов!» И поделом вам. «Франция для французов!» – таков девиз Жана Петуха и Жана Барана. И так как эти три слова точно определяют положение великого народа среди других народов, устанавливают необходимые условия его существования, закон мирового торгового оборота, взаимообмен идеями и произведениями труда, – короче говоря, заключают в себе глубокую философию и широкую экономическую доктрину, то Жан Петух и Жан Баран, дабы обеспечить Францию за французами, решили закрыть ее для иностранцев и пришли к гениальной мысли – распространить на человеческие существа систему, которую господин Мелин применил к продуктам земледелия и промышленности на радость кучке земельных собственников. И эта идея, возникшая в уме Жана Петуха, – запретить доступ на отечественную почву людям иностранных наций – привела в восхищение своей суровой красотой целую толпу мещан и содержателей кофеен.

Жан Петух и Жан Баран люди не злонравные. Если они враги рода

человеческого, то лишь по простоте душевной. У Жана Петуха больше горячности, а у Жана Барана больше склонности к меланхолии. Но оба они наивны и верят в то, что говорит их газета. Тут-то особенно выявляется их наивность. Ибо тому, что говорит их газета, нелегко поверить. Взываю к вам, прославленные шарлатаны, фальсификаторы всех времен, записные вралы, знаменитые обманщики, непревзойденные мастера небылиц, заблуждений и бредней, к вам, чье почтенное жульничество обогатило светскую литературу и литературу духовную столькими поддельными книгами, к вам, авторы греческих, латинских, еврейских, сирийских и халдейских апокрифов, столь долго злоупотреблявшие доверием невежд и знатоков, к вам, лже-Пифагор, лже-Гермес-Трисмегист, лже-Санхониафон, к вам, поддельватели орфической поэзии и сивиллиных книг, к вам, лже-Енох, лже-Ездра, псевдо-Климент и псевдо-Тимофей, и к вам, сеньоры аббаты, состряпавшие в царствование Людовика Девятого вымышленные хартии от имени Клотария и Дагобера для закрепления за собой земель и привилегий; и к вам, доктора канонического права, обосновавшие претензии папского престола на целом ворохе священных декреталий, вами самими сочиненных; и к вам, оптовые изготовители исторических мемуаров – Судави, Куршан, Тушар-Лафос, поддельватель Вебер и Бурьен-поддельватель; к вам, мнимые палачи и мнимые полицейские гнусно смастерившие Мемуары Сансона и мемуары господина Клода; и к тебе, Врен-Люка, собственноручно начертавший письмо Марии Антуанетты и грамотку Верцингеторикса – к вам взываю; взываю и к вам, чья жизнь была сплошным притворством, лже-Смердисы, лже-Нероны, самозванные Орлеанские девственницы, введшие в заблуждение даже братьев самой Жанны д'Арк, лже-Димитрий, лже-Мартин Герр и лже-герцоги Нормандские; взываю к вам, чародеи, чудотворцы обольщавшие толпу, Симон-маг, Аполлоний Тианский, Калиостро, граф де Сен-Жермен; взываю к вам, путешественники, которые, вернувшись из дальних стран, могли беззастенчиво врать и всю этим пользовались; к вам, кто говорил, что видел циклопов и листригонов, магнитную гору птицу Рок, рыбу-епископа; и к тебе, Жан де Мандевиль повстречавший в Азии дьяволов, изрыгающих пламя; и к вам сочинители превосходных сказок, басен и шванков, о Матушка Гусыня, о Тиль Уленшпигель, о барон Мюнхгаузен; и к вам, испанцы, несусветные бахвалы, рыцари и пикаро, – взываю ко всем вам: удостоверьте, что вы все, вместе взятые, на протяжении многих веков не нагромодили столько лжи, сколько помещает за один день лишь одна из газет, которые читают Жан Петух и Жан Баран. Как после этого удивляться, что в голове у них сплошная фантазмагория!

Замешанный в дело о заговоре против республики, Жозеф Лакрис принял меры, чтобы охранить от опасности свою особу и свои бумаги. Полицейский комиссар, которому поручено было наложить арест на переписку роялистского комитета, был слишком еветским человеком, чтобы не предупредить заблаговременно господ членов о своем посещении. Он уведомил их за сутки, сочетав таким образом учтивость с естественной заботой о личных интересах, так как разделял общее мнение, что республиканское министерство будет в скором времени опрокинуто и заменено министерством Мелина или Рибо. Когда он явился в помещение комитета, все папки и ящики были пусты. Он наложил на них печати. Он опечатал также «Справочник Ботена» за 1897 год, каталог автомобильного заводчика, фехтовальную перчатку и пачку папирос, лежавшую на мраморном выступе камина. Таким образом он соблюл предписанную законом форму, с чем надлежит его поздравить: соблюдать предписанную законом форму надо всегда. Его звали Жонкий. Он был заслуженный чиновник и остроумный человек. В молодости он сочинял песенки для кафешантанов. Одно из его произведений, «Тараканы в хлебе», пользовалось большим успехом на Елисейских полях в 1885 году.

Оправившись от удивления, вызванного неожиданным преследованием, Жозеф Лакрис перестал тревожиться. Он быстро убедился, что при существующем режиме участвовать в заговоре было менее опасно, чем при Первой империи и при легитимистской монархии, что Третья республика не отличалась кровожадностью. Он стал меньше уважать ее из-за этого, но зато почувствовал большое облегчение. Одна только г-жа де Бонмон смотрела на него, как на жертву. Она еще больше полюбила его, ибо была сердобольна, и доказывала ему свою любовь слезами, рыданиями и нервными припадками, так что он провел с ней в Брюсселе две незабываемые недели. В этом и состояло все его изгнание. Он был одним из первых, в отношении которых Верховный суд прекратил преследование за отсутствием улик. Я лично против этого не возражаю, и, если бы меня послушали, Верховный суд не осудил бы никого. Раз не осмелились преследовать всех виновных, то было бы не очень благородно выносить приговор только тем, кого меньше всего опасались, и карать за действия, ничего или почти ничего не прибавлявшие к тому, за что уже было понесено наказание. Наконец, странно выглядело бы то, что в

военном заговоре замешаны одни только штатские.

На это весьма достойные люди ответили мне:

– Каждый защищается, как может.

Жозеф Лакрис отнюдь не утратил энергии. Он был готов снова скрепить порванные нити заговора; но вскоре признали, что это неосуществимо. Хотя по большей части полицейские комиссары, получившие ордер на обыск, поступили по отношению к предупрежденным роялистам с такой же деликатностью, как и г-н Жонкий, но, благодаря ли коварству судьбы или оплошности заговорщиков, в руках полиции против ее воли оказалось достаточно документов, чтобы раскрыть прокурору республики сокровенные тайны комитета. Дальнейшая конспиративная работа стала небезопасной, и всякая надежда увидеть с первыми ласточками возвращение короля была окончательно потеряна.

Госпожа де Бонмон продала шесть белых лошадей, которых купила с намерением поднести королю для его парадного въезда в Париж через Елисейские поля. Она уступила их, по совету своего брата Вальштейна, г-ну Жильберу, директору Национального цирка в Трокадеро. Ей не пришлось потерпеть убыток от этой продажи. Такого огорчения она не испытала. Напротив, она даже получила некоторую прибыль. Но все же из ее прекрасных глаз катились слезы, когда эти шесть белых, как лилии, коней покинули ее конюшню, чтобы больше никогда туда не вернуться. Ей казалось, что их впрягли в катафалк той самой монархии, чью триумфальную колесницу они должны были везти.

Тем временем Верховный суд, не проявлявший особой любознательности при расследовании дела, продолжал бесконечно заседать.

Однажды у г-жи де Бонмон юный Лакрис отдал дань естественному желанию осыпать проклятиями судей, которые хоть его и оправдали, но нескольких обвиняемых еще держали. под арестом.

– Этакie бандиты! – воскликнул он.

– Ах! – вздохнула г-жа де Бонмон, – сенат на откупу у министерства. У нас ужасное правительство. Господин Мелин никогда не допустил бы подобного процесса. Он был республиканец, но порядочный человек. Останься господин Мелин министром, король был бы уже во Франции.

– Увы! король теперь от нее очень далеко, – сказал Анри Леон, никогда не питавший больших иллюзий.

Жозеф Лакрис, соглашаясь с ним, кивнул головой. Воцарилось долгое молчание.

– Вам, Лакрис, это, быть может, и на руку.

– Каким образом?

– Я хочу сказать, что для вас в некотором отношении выгодно, чтобы король оставался в изгнании. Вы даже должны быть от этого в восторге, разумеется, если не принимать во внимание ваши патриотические чувства.

– Не понимаю.

– А между тем это очень просто. Будь вы, как я, финансистом, монархия могла бы принести вам выгоду. Взять хотя бы коронационный заем... Король сделал бы этот заем вскоре после своего возвращения, ибо ему, нашему дорогому монарху, понадобились бы деньги, чтобы царствовать. Я крупно нажил бы на этом деле. Но что вам, адвокату, принесла бы реставрация? Префектуру? Подумаешь, какое счастье! Вы, как роялист, добьетесь гораздо большего при республике. Вы отличный оратор. Пожалуйста, не отрекайтесь. Ваша речь течет плавно и изящно. Вы один из двадцати пяти или тридцати молодых адвокатов, которых национализм выдвинул на видное место. Можете мне поверить, я вам не лъщу. Человек, умеющий хорошо говорить, должен только выгадать от того, что король не вернется. Как только Филипп прибудет в Елисейский дворец, вас заставят управлять и руководить. Это ремесло быстро подтачивает человека. Встанете на защиту народных интересов, – король будет недоволен и вас прогонит. Проявите преданность королю, – начнет роптать публика, и король вас уволит. Он ли сделает промах, или вы промахнетесь, а накажут вас и в том и в другом случае. Популярны вы или непопулярны, вы неизбежно пойдете ко дну. Но пока король находится в изгнании, вы не можете совершить никаких промахов. Вы не имеете никакой власти, вы не несете ответственности. Это – превосходное положение. Вам нечего бояться ни популярности, ни непопулярности: вы стоите выше той и другой. Что бы вы ни сказали, вы не можете провалить дела: защитник безнадежного дела не может ничего провалить. Адвокат несчастья всегда красноречив. Нет никакой опасности быть монархистом при республике, когда дело монархии безнадежно. Надо стать в безвредную оппозицию к власти; сделаться либералом; привлечь симпатии всех врагов существующего режима и снискать уважение правительства, с которым борешься, но при этом не причиняешь ему вреда. Служитель павшей монархии, вы благоговейно будете припадать к стопам вашего короля; это придаст еще больший ореол благородству вашего характера и позволит вам, не унижая себя, расточать его величеству сколько угодно славословий. И, наоборот, вы можете, также без стеснения, отчитывать короля, говорить ему все с резкой прямоотой, упрекать за заграничные связи, за то, что он отрекся от власти, за выбор приближенных советников, сказать ему,

например: «Дозвольте вам, ваше величество, почтительно доложить, что вы водитесь со всякой шушерой Газеты подхватят эти благородные слова. Слава о вашей преданности от этого возрастет, величие души позволит вам господствовать над вашей партией. Как адвокат, как депутат, вы можете великолепно жестикулировать и в суде и на трибуне палаты; вы неподкупны... Да и отцы духовные к вам благоволят. Не упускайте своего счастья, Лакрис.

Лакрис сухо ответил:

– Может быть, то, что вы говорите, и очень смешно, но я этого не нахожу. И сомневаюсь, чтобы ваши шутки были очень уместны.

– Я не шучу.

– Нет, шутите. Вы скептик. Я питаю отвращение к скептицизму. Это – отрицание действия. Я стою за действие, всегда и наперекор всему.

Анри Леон запротестовал:

– Уверю вас, что я говорю серьезно.

– В таком случае, должен вам, к сожалению, сказать, что вы не имеете ни малейшего представления о духе нашей эпохи. Вы нарисовали тут какого-то дядюшку в стиле Берье, смахивающего на старинный фамильный портрет, на потускневшее трюмо. При Второй империи он мог бы еще быть фигурой этот ваш роялист. Но теперь, поверьте мне, он показался бы устаревшим, дурацки старомодным. В двадцатом веке придворный короля-изгнанника был бы просто смешон. Кто терпит поражение, сам виноват: слабые всегда неправы. Вот ваша мораль, любезнейший. Разве мы симпатизируем Польше, Греции, Финляндии? Нет и нет! Мы не играем на такой гитаре. Простаков больше не найдешь!.. Мы кричали: «Да здравствуют буры!» Это верно. Но мы знали, что делали. Нам нужно было досадить правительству, чтобы осложнить его отношения с Англией, и, кроме того, мы рассчитывали, что буры победят. Впрочем, я не пал духом. Я надеюсь, что мы свергнем республику с помощью республиканцев. То, чего мы сами не можем сделать, мы сделаем вместе с националистами всех оттенков. При их содействии мы удавим потаскуху. И прежде всего нам надо заняться муниципальными выборами.

Жозеф Лакрис правильно охарактеризовал себя, сказав, что он человек действия. Праздность тяготила его. Перестав быть секретарем бездействующего роялистского комитета, он вошел в националистский комитет, действующий очень энергично. Там царил дух неистовства. Все там дышало истребительным патриотизмом и ненавистнической любовью к Франции. Комитет организовывал весьма угрожающие манифестации то в театрах, то в церквах. Жозеф Лакрис становился во главе этих манифестаций. Когда они происходили в церквах, г-жа де Бонмон, особа набожная, являлась туда в темном туалете. *Domus mea domus orationis.*^[2] Однажды после богослужения в соборе г-жа де Бонмон и Лакрис демонстративно присоединились к националистам, смешались на площади с людьми, выразившими свой патриотизм бешеными и дружными криками. Лакрис слил свой голос с голосом толпы, а г-жа де Бонмон воодушевляла всеобщую отвагу влажными улыбками своих голубых глаз и пунцовых губок, ярко выделявшихся под вуалеткой.

Вой был величественный и оглушительный. Он все возрастал, когда по приказу префектуры отряд блюстителей порядка двинулся на манифестантов. Лакрис невозмутимо смотрел на его приближение и, как только отряд оказался на достаточно близком расстоянии, крикнул: «Да здравствует полиция!»

Энтузиазм его, продиктованный осторожностью, был в то же время искренен. Узлы дружбы завязались между бригадами префектуры и манифестантами-националистами еще, если позволительно так выразиться, с незабвенных времен министра-земледельца, который предоставлял дубиноносцам убивать на мостовых мирных республиканцев. И это называл он: проявлять умеренность! О кроткие земледельческие нравы! О первобытная простота! О счастливые дни! Кто вас не знал – тот не жил! О простодушие этого жителя полей, который говорил: «У республики нет врагов. Где вы видите роялистских заговорщиков и мятежных монахов? Таких не существует». Он спрятал их всех под своим длиннополым праздничным сюртуком. Жозеф не забыл этих благословенных времен. И полагаясь на древний союз бунтовщиков-роялистов с полицией, он приветствовал черные бригады. Находясь в первых рядах сторонников лиги, он размахивал в знак миролюбия шляпой, которую нацепил на кончик трости, и раз двадцать прокричал: «Да здравствует полиция!» Но времена

были уже не те. Равнодушные к этой дружеской встрече, глухие к лестным выкрикам, полицейские ринулись в атаку. Натиск был стремительный. Толпа националистов дрогнула и подалась. О возмездие судьбы! Г-ну Жозефу Лакрису, прекратившему свои приветствия и снова накрывшему голову, продавили шляпу ударом кулака. Возмущенный оскорблением, он сломал свою трость о голову полицейского. И если бы друзья не бросились ему на помощь и не отстояли его, он попал бы в участок и был бы избит как социалист.

Представителя власти, которому проломили череп, отнесли в больницу, где сам префект вручил ему серебряную медаль. Жозефа Лакрису комитет националистов квартала Грандз'Экюри выставил кандидатом на муниципальных выборах, назначенных на 6 мая.

На предыдущих выборах комитет намечал г-на Колинара, консерватора, но его забаллотировали, и он снял теперь свою кандидатуру. Председатель комитета, колбасник Боно, ручался за избрание Жозефа Лакрису. Выбывавший член муниципального совета Ремонден, радикал-республиканец, добивался возобновления полномочий. Но он утратил доверие избирателей. Он восстановил всех против себя и пренебрег интересами квартала. Он даже не выхлопотал трамвая, на проведении которого настаивали уже двенадцать лет, и его обвиняли в том, что он сделал кое-какие поправки дрейфусарам. Квартал был отменный. Вся прислуга сочувствовала националистам, а купцы строго отзывались о министерстве Вальдека – Мильерана. Имелись и евреи, но они были антисемитами. Многочисленные и богатые конгрегации должны были присоединиться. Особенно можно было рассчитывать на патеров, освятивших незадолго перед тем часовню св. Антония. Успех был обеспечен. Только бы г-н Лакрис не высказывался слишком ясно и не прибегал к роялистской терминологии чтобы не отпугнуть мелких коммерсантов, боявшихся перемены режима, особенно во время выставки.

Лакрис воспротивился. Он был роялистом и не собирался прятать свое знамя в карман. Г-н Боно настаивал. Он знал своего избирателя. Он знал, на кого расставлял сети и какая нужна приманка. Г-н Лакрис должен был выступить в качестве националиста, и тогда Боно брался его провести. В противном случае дело было безнадежно.

Жозеф Лакрис был в нерешительности. Он думал написать королю. Но время не позволяло. А кроме того, мог ли король на расстоянии быть хорошим судьей в своих делах? Лакрис обратился за советом к друзьям.

– Наша сила в наших принципах, – ответил Анри Леон. – Монархист не может выдавать себя за республиканца, хотя бы и во время выставки. Но

никто и не требует от вас, чтобы вы называли себя республиканцем, дорогой Лакрис. Вас даже не просят говорить, что вы республиканец-прогрессист или республиканец-либерал. От вас только хотят, чтобы вы провозгласили себя националистом. Вы можете это сделать с высоко поднятой головой, ибо вы действительно питаете националистические чувства. Колебаться нечего. От этого зависит ваш успех, а правое дело требует, чтобы вы были избраны.

Жозеф Лакрис уступил из патриотизма. И он написал королю, чтобы изложить ему положение и заверить его в своей преданности.

Пункты программы были установлены без всяких затруднений. Защищать национальную армию от банды оголтелых. Борьба с врагами национализма. Поддержать права отцов семейств, задетые правительственным законопроектом об университетском стаже. Предотвратить опасность коллективизма. Связать трамвайной линией квартал Грандз'Экюри с выставкой. Высоко держать знамя Франции. Улучшить работу водопровода.

О плебисците ничего не говорилось. О нем не имели никакого понятия в квартале Грандз'Экюри. Таким образом, Жозефу Лакрису не к чему было утруждать себя и согласовывать свою доктрину, опиравшуюся на божественное право, с плебисцитарной доктриной. Он любил Деруледа и восхищался им, но не шел за ним вслепую.

– Я закажу трехцветные воззвания, – сказал он, обращаясь к Боно. – Это будет эффектно. Не надо ничем пренебрегать, чтобы поразить умы.

Боно одобрил. Но выбывавший член муниципального совета Ремонден, добившись в последнюю минуту прокладки линии городской железной дороги от Грандз'Экюри к Трокадеро, широковещательно *объявлял* о достигнутом им успехе. Он восхвалял армию в своих письмах к избирателям и превозносил чудеса выставки, которую называл славой Парижа, триумфом промышленного и коммерческого гения Франции. Он становился опасным соперником.

Почувствовав, что борьба будет ожесточенной, националисты удвоили энергию. На бесчисленных собраниях они обвиняли Ремондена в том, что он уморил голодом свою старуху-мать и голосовал за муниципальную подписку на книгу дрейфусара Урбена Гойе. Каждую ночь они бесчестили Ремондена, называя его жидовским кандидатом и панамистом. Чтобы поддержать Жозефа Лакриса, образовалась группа республиканцев-прогрессистов, которая выпустила следующее письмо к избирателям:

«Господа избиратели!»

Переживаемые нами серьезные обстоятельства обязывают нас требовать от кандидатов на муниципальных выборах отчета об их взглядах на общую политику, от которой зависит будущее страны. В час, когда заблудшие лица преступно дерзают вести вредную агитацию, способную ослабить наше дорогое отечество; в час, когда коллективизм, беззастенчиво ставший у власти, угрожает нашей собственности, священным плодам труда и сбережений; в час, когда правительство, оказавшееся у кормила правления вопреки воле народа, готовит тиранические законы, голосуйте единодушно за

ГОСПОДИНА ЖОЗЕФА ЛАКРИСА,

адвоката при апелляционном суде,

кандидата сторонников свободы совести и безупречной Республики».

Социалисты-националисты квартала сперва думали выставить собственного кандидата, передав его голоса при втором туре Жозефу Лакрису. Но неминуемая опасность побуждала к единению. Социалисты-националисты Грандз'Экюри поддержали кандидатуру Лакриса и выпустили воззвание к избирателям:

«Граждане!

рекомендуем вам истинно республиканского, социалистического и националистического кандидата

ГРАЖДАНИНА ЛАКРИСА.

Долой предателей! Долой дрейфусаров! Долой панамистов! Долой жидов! Да здравствует социал-националистическая Республика!»

Патеры, у которых в квартале была часовня и крупная недвижимость, воздержались от вмешательства в избирательную борьбу. Они находились в слишком безропотном подчинении у его святейшества, чтобы послушаться его распоряжению, да и забота о богоугодных делах держала их вдали от мирской суеты. Но миряне, из числа их друзей, весьма кстати изложили в воззвании мысль добрых отцов. Вот содержание этого воззвания, распространившегося по всему кварталу Гранда Эжюри:

«Христолюбивое общество святого Антония для разыскания утерянных предметов, драгоценностей, денег и вообще всякой движимости и недвижимости, а равно для возвращения сердечных чувств, привязанностей и пр. и пр.

Милостивые государи!

Во время выборов дьявол особенно старается смущать души. Для достижения этой цели он прибегает к бесчисленным ухищрениям. Увы! Разве не находится в его распоряжении вся армия франкмасонов? Но вы сумеете расстроить козни врага. Вы с ужасом и отвращением отвергнете кандидата поджигателей храмов, подстрекателей и прочих дрейф уса ров. Только поставив у власти честных людей, вы сможете прекратить гнусные гонения, так жестоко свирепствующие в этот час, и лишить недостойное правительство возможности накладывать руку на деньги бедных. Голосуйте все за

ГОСПОДИНА ЖОЗЕФА ЛАКРИСА,

адвоката при апелляционном суде,

кандидата св. Антония.

Не причиняйте, милостивые государи, доброму святому Антонию незаслуженного огорчения увидеть неудачу его кандидата.

*Подписи: Рибазу, адвокат. Вертгеймер, публицист.
Флоримон, архитектор. Беш, капитан в отставке.
Молон, рабочий».*

Из этих документов можно усмотреть, на какую интеллектуальную и моральную высоту вознес национализм обсуждение муниципальных кандидатур Парижа.

XXIII

Жозеф Лакрис, националистский кандидат, очень энергично вел кампанию в квартале Грандз'Экюри против выбывавшего члена муниципального совета Ансельма Ремондена, радикале. Он тотчас же почувствовал себя в своей тарелке на публичных собраниях. Будучи адвокатом и крайним невеждой, он говорил без удержу, и ничто его не могло остановить. Он изумлял избирателей быстрым потоком слов и привлекал их симпатии скудным подбором и незатейливостью своих мыслей и тем, что всегда говорил лишь так, как они сказали бы сами или по крайней мере хотели сказать. Он явно одерживал верх над Ансельмом Ремонденом. Он беспрерывно твердил о своей честности и о честности своих политических друзей, повторял, что надо выбирать честных людей и что его партия была партией честных людей. А так как это была новая партия, то ему верили.

Ансельм Ремонден возражал на своих собраниях, что он честен и очень честен; но так как он выступал с этими заявлениями после своего противника, то они вызывали скуку. Кроме того, он уже занимал муниципальную должность и был замешан в разные дела, а потому трудно было поверить в его честность, тогда как Жозеф Лакрис сверкал блеском невинности.

Лакрис был молод, подвижен и походил на военного. Ремонден был мал ростом, толст и носил очки. Этого не могли не заметить в такой момент, когда национализм вдохнул в муниципальных избирателей присущий ему род энтузиазма и даже поэзии и идеал красоты, доступный мелким коммерсантам.

Лакрис не имел ни малейшего представления ни о вопросах городского управления, ни о круге деятельности муниципальных советов. Это неведение шло ему на пользу. Оно позволяло его красноречию свободно парить. Ансельм Ремонден, напротив, увязал в деталях. Он приобрел деловую складку, привычку к техническому подходу, пристрастие к цифрам, манию документации. И хотя он знал свою публику, но питал некоторые иллюзии относительно культурности своих избирателей. Он их все еще немножко уважал, не осмеливался угощать их слишком явными враками и пускался в объяснения. А потому он казался холодным, непонятным, скучным.

Он отнюдь не был простаком. Он понимал свои интересы и разбирался

в вопросах мелкой политики. Глядя на то, как националистские газеты, националистские прокламации, националистские брошюры затопляли в продолжение двух лет его квартал, он сказал самому себе, что в нужный момент тоже сумеет промышлять национализмом и что не так уже трудно обзывать своих врагов предателями и приветствовать национальную армию. Он недооценил своих противников, полагая, что всегда сумеет заговорить тем же языком, что и они. В этом он ошибался. Жозеф Лакрис изобрел для выражения националистской идеологии неподражаемый трюк. Он придумал фразу, которая часто пускалась им в ход и выглядела всегда прекрасной и всегда новой, а именно: «Граждане, подыдемся все на защиту нашей восхитительной армии против горсти отщепенцев, поклявшихся уничтожить родину». Это было как раз то, что надо было говорить избирателям Грандз'Экюри. Эти перлы красноречия, ежевечерне повторяемые, вызывали величественный и потрясающий энтузиазм у всего собрания. Ансельм Ремонден не сумел найти ничего, хотя бы отдаленно столь прекрасного. И даже тогда, когда вдохновение подсказывало ему патриотические слова, он брал не тот тон, и эффекта не получалось.

Лакрис покрывал стены трехцветными прокламациями. Ансельм Ремонден тоже заказал прокламации в три цвета. Но оттого ли, что краска на них была недостаточно густой, или же оттого, что они выгорали на солнце, они казались полинявшими. Все ему изменяло, все его покидало. Он терял уверенность, казался смиренным, осторожным, маленьким. Он исчезал, становился невидим.

И когда в зале какого-нибудь питейного заведения, разукрашенного для пирушки, Ремонден поднимался, чтобы произнести речь, он походил на бледный призрак, и слабый голосок его тонул в трубочном дыме и в рокоте шумевших граждан. Он напоминал о своем прошлом. Называл себя старым борцом. Говорил, что защищал республику. Но и такие слова текли бледной струей и не рождали звонкого отклика. Ибо избиратели Грандз'Экюри желали, чтобы республику защищал Лакрис, тот самый Лакрис, который устраивал заговоры против нее. Это они крепко втемяшили себе в голову.

На собраниях не бывало дискуссий. Только раз Ремондена пригласили к националистам. Он пошел. Но говорить ему не удалось: его лишили слова при голосовании повестки дня в суматохе и в темноте, так как хозяин погасил газ, едва только начали ломать скамьи. Собрания в Грандз'Экюри проходили, как и во всех других кварталах Парижа, с умеренным шумом. Обе стороны прибегали только к вялым актам насилия, характерным для этого времени и типичным для наших политических нравов. Националисты, по традиции, пускали в ход монотонную брань, но от всех

их ругательств – «продажная душа», «предатель», «мерзавец» – отдавало бессильем и дряблостью. Крики, раздававшиеся там, свидетельствовали о крайней физической и моральной расслабленности, о смеси смутного недовольства с полным оупением и неспособностью продумать самую простую мысль до конца. Много ругани и мало драк. Каждую ночь – не больше двух-трех раненых и контуженных с обеих сторон. Лакрисовцев относили к Делапьеру, аптекарю-националисту, помещавшемуся рядом с манежем, а ремондеиовпев – к г-ну Жобу, аптекарю-радикалу, помещавшемуся напротив рынка. В полночь на улицах уже было пусто.

В воскресенье 6 мая, в шесть часов, Жозеф Лакрис, окруженный друзьями, дожидался исхода выборов в пустой лавке, увешанной плакатами и флагами. Тут помещался комитет. Г-н Боно, колбасник, пришел известить Лакриса о его избрании двумя тысячами триста девятыю голосами против тысячи пятисот четырнадцати, поданных за Ремондена.

– Гражданин, – сказал ему Боно, – мы все очень довольны. Для республики это победа.

– И для честных людей, – ответил Лакрис.

Затем он добавил с благоволением, полным достоинства:

– Благодарю вас, господин Боно, и прошу вас передать мою благодарность нашим мужественным друзьям.

И, повернувшись к Анри Леону, стоявшему подле него, он шепнул ему на ухо:

– Леон, сделайте мне одолжение: телеграфируйте сейчас же его величеству о нашем успехе.

А с улицы в это время доносились радостные крики:

– Да здравствует Дерулед! Да здравствует армия! Да здравствует республика! Долой предателей! Долой жидов!

Под шум оваций Лакрис стремительно уселся в коляску» Толпа заграждала улицу. Еврей барон Гольсберг стоял у дверцы экипажа. Он схватил за руку нового члена муниципального совета.

– Я голосовал за вас, господин Лакрис. Слышите, я голосовал за вас. Потому что, я вам скажу, антисемитизм – это чепуха, – я это знаю, и вы тоже знаете, – чистойшая чепуха! а социализм – это-таки серьезно.

– Да, да. Прощайте, господин Гольсберг.

Но барон не отпускал его.

– Социализм! Не дай бог! Господин Ремонден завел шуры-муры с коллективистами. Так что мне было делать? Я голосовал за вас, господин Лакрис.

Тем временем толпа редела:

– Да здравствует Дерулед! Да здравствует армия! Долой дрейфусаров! Долой Ремондена! Смерть жидам!

Кучеру удалось прорваться сквозь гущу напиравших избирателей.

Жозеф Лакрис застал г-жу де Бонмон дома, одну, взволнованную и торжественную.

Она уже знала.

– Избран! – сказала она ему, возводя глаза к небу и раскрывая объятия.

И это слово «избран» приняло в устах столь набожной дамы мистический смысл.

Она обвила его своими прекрасными руками.

– Особенно я счастлива тем, что ты обязан мне своим; избранием.

Она не раскошелилась для этого ни на грош. В деньгах правда, недостатка не было, и кандидат-националист черпал их из очень многих источников. Но все же нежная Элизабет не дала ничего, и Жозеф Лакрис не понимал, что она хотела сказать. Она пояснила:

– Я каждый день ставила свечку святому Антонию. Вот почему ты получил большинство. Святой Антоний делает все о чем его попросят. Отец Адеодат меня в этом заверил, и я сама несколько раз убеждалась.

Она осыпала его поцелуями. В ее голове мелькнула мысль, которая показалась ей красивой и напоминавшей рыцарские обычаи. Она спросила:

– Не правда ли, друг мой, члены муниципалитета носят перевязи? Они с шитьем, скажи?... Я тебе вышью...

Он очень устал. В изнеможении бросился он в кресло.

Опустившись перед ним на колени, она прошептала:

– Люблю тебя!

И одна только ночь слышала остальное.

В тот же вечер узнал о результате выборов и Ансельм Ремонден в своей квартирке, которую он называл «жилищем сына квартала». В столовой на столе красовалась дюжина бутылок и холодный пирог. Провал поразил Ремондена.

– Так и знал! – проговорил он.

И сделал пируэт. Но сделал его неудачно и подвернул ногу.

– Сам виноват, – сказал ему как бы в утешение доктор Мофль, председатель комитета, старый радикал с лицом Силена. – Ты позволил националистам отравить квартал, у тебя не хватило мужества с ними бороться. Ты ничего не сделал, чтобы разоблачить их враки. Напротив, ты так же, как и они, и вместе с ними затуманивал мозги. Ты знал истину и не осмелился вовремя вывести избирателей из заблуждения. Ты вел себя как

трус. Ты провалился, так тебе и надо.

Ансельм Ремонден пожал плечами.

– Ты старый ребенок, Мофль. Ты не понимаешь сути этих выборов. А между тем она ясна. Причина моего поражения заключается в одном: в недовольстве мелких лавочников, попавших в тиски между большими магазинами и кооперативными обществами. Они страдают; они заставили меня заплатить за свои страдания. Вот и все. – И с бледной улыбкой он добавил: – Они здорово попадутся!

Встретив в аллее Люксембургского сада своих учеников, Губена и Дени, профессор Бержере сказал:

– Могу сообщить вам, господа, приятную новость. Мир в Европе не будет нарушен. Сами трублионы подтвердили мне это.

И вот что сообщил г-н Бержере:

– Я встретил на выставке Жана Петуха, Жана Барана, Жана Орленка и Жилия Мартышку, которые глазели на поскрипывающие мостики. Жан Петух подошел ко мне и изрек следующие строгие слова:

– Вы сказали, что мы хотим войны и собираемся воевать, что я высажусь в Дувре, введу вместе с Жаном Бараном войска в Лондон, а затем захвачу Берлин и другие столицы. Вы так сказали; я это знаю. Вы сказали это со злым умыслом, желая нам повредить, дабы уверить французов в нашей воинственности. Так знайте же, сударь: это ложь! Мы не выказываем никаких воинственных наклонностей, а только военные наклонности, – и это совсем не одно и то же. Мы хотим мира, и когда мы установим во Франции республику во главе с императором, мы воевать не будем.

Я ответил Жану Петуху, что готов ему поверить, что я убедился в своей ошибке и она совершенно очевидна, поскольку Жан Петух, Жан Баран, Жан Орленок, Жиль Мартышка и вообще все трублионы достаточно доказали свое миролюбие, так как поостереглись отправиться в Китай и лишь других призывали туда красивыми белыми объявлениями о наборе.

– С тех пор, – добавил я, – мне удалось почувствовать всю изысканность ваших воинских чувств и всю силу вашей привязанности к отечеству. Вы не в силах расстаться с родной землей. Пожалуйста, примите мои извинения, господин Петух. Рад видеть, что вы так же миролюбивы, как и я.

Жан Петух посмотрел на меня взглядом, способным привести в трепет вселенную:

– Я миролюбив, господин Бержере. Но, слава богу, не на ваш лад. Мир, которого я добиваюсь, не похож на ваш. Вы трусливо довольствуетесь миром, который навязан нам в данное время. У нас слишком возвышенные души, чтобы выносить его терпеливо. Этот жиденький, спокойный мир, который удовлетворяет вас, жестоко оскорбляет наши гордые сердца. Когда мы станем господами положения, мы установим другой мир. Мы установим мир страшный, звенящий шпорами, гремящий трубами,

звякающий подковами. Мы установим мир беспощадный и суровый, мир угрожающий, ужасающий, пылающий и достойный нас, грохочущий, извергающий грома, мечущий молнии, рассыпающий искры, мир, более устрашительный, чем самая устрашительная война, мир, который скует земной шар ледящим страхом и погубит англичан с помощью оградительных мер. Вот, господин Бержере, вот какими миролюбцами мы будем. Через два-три месяца вы увидите, как вспыхнет наш мир и воспламенит вселенную.

Прослушав эту речь, я был вынужден признать миролюбие трублионов и таким образом постиг правдивость прорицания, начертанного панзустской сивиллой на листе древней сикоморы:

О трублион, о чем хлопчешь?
Напрасно глотки не труди —
Коль мирный дух восславить хочешь,
Так сам войною не смерди.

Салон г-жи де Бонмон стал удивительно оживленным и блестящим со времени победы националистов в Париже и избрания Жозефа Лакриса в Грандз'Экюри. Вдова великого барона объединяла у себя цвет новой партии. Один старый раввин из предместья Сент-Антуан уверовал в то, что кроткая Элизабет привлекла врагов избранного народа по особому повелению бога Израиля. Длань, думал он, некогда приведшая племянницу Мардохая на ложе Ассуэра, пожелала собрать вождей антисемитизма и князей трублионских вокруг еврейки. Правда, баронесса отреклась от веры отцов. Но кто может проникнуть в помыслы Иеговы? Художникам, которым, подобно Фремону, мерещились мифологические фигуры из немецких замков, ее пухлая красота венской Эригоны представлялась аллегорией националистского вертограда.

На ее обедах царил атмосфера веселья и могущества, и каждый ее завтрак носил поистине национальный характер. Так и в это утро за ее столом собралось несколько известных защитников церкви и армии: Анри Леон, вице-председатель юго-западных роялистских комитетов, перед тем поздравивший выбранных националистов Парижа; капитан де Шальмо, сын генерала Картье де Шальмо, и его молодая жена, американка, выражавшая свои националистские чувства таким щебетом, что, слушая ее, можно было подумать, будто птички в вольере принимают участие в наших раздорах; временно отрешенный от должности преподаватель пятого класса лица Сюлли г-н Тонелье, который произнес в присутствии своих юных учеников похвальное слово в честь покушения на особу президента республики, подвергся за это дисциплинарному взысканию и тотчас же был принят в лучшее общество, где держал себя чинно, если не считать пристрастия к каламбурам; бывший коммунары Фремон, инспектор по делам изящных искусств, который на склоне лет превосходно ужился с буржуазным и капиталистическим обществом, усердно посещал богатых евреев, хранителей сокровищ христианского искусства, и охотно подчинился бы даже диктатуре лошади, лишь бы ему была предоставлена возможность ласкать целый день своими холеными руками безделушки из ценных материалов тончайшей работы; престарелый граф Даван с крашеными волосами, нафиксатуаренный, вылощенный, неизменно красивый, немного хмурый, живший воспоминаниями о золотом веке еврейства, когда он поставлял крупным роскошествующим финансистам

мебель Ризенера и бронзы Томира. Некогда фактор великого барона, он раздобыл для него на пятнадцать миллионов предметов искусства и мебели. Теперь, разоренный неудачными спекуляциями, он жил среди сыновей, жалея об отцах, угрюмый, желчный, наглейший паразит, знавший, что только таких и терпят. За столом баронессы был также Жак де Кад, один из инициаторов подписки в пользу вдовы полковника Анри; Гюстав Делион, Астольф де Куртре, Жозеф Лакрис, Гюг Шасон дез'Эг, председатель националистского комитета Сель-Сен-Клу; затем Серебряная Нога, в куртке и штанах из грубого холста, с белой нарукавной повязкой, затканной золотыми лилиями, с густой шевелюрой под круглой шапкой, с которой он никогда не расставался, так же как и с четками из косточек маслины. Это был монмартрский песенник, по имени Дюпон, ставший шуаном и принятый в высшем свете. Он ел словно на ходу, держа между колен старое кремневое ружье, и пил без удержу. Со времени «Дела» во французском фешенебельном обществе произошла перетасовка.

Молодой барон Эрнест занимал хозяйское место на другом конце стола, против матери.

Беседа коснулась политики.

– Поверьте, – сказал Жак де Кад Гюставу Делиону, – напрасно, совершенно напрасно вы не практикуетесь в приеме отца Франсуа... Почем знать, что случится после выставки... А поскольку мы устраиваем публичные собрания...

– Во всяком случае несомненно, – вставил Астольф де Куртре, – что если мы хотим победить на выборах через год и восемь месяцев, то должны подготовиться к кампании. За себя ручаюсь, что буду готов. Я ежедневно упражняюсь в боксе и в фехтовании на палках.

– Кто ваш учитель? – спросил Гюстав Делион.

– Годибер. Он усовершенствовал французский бокс. Просто изумительно! У него бесподобные ножные удары, собственного изобретения. Это мастер высшей марки, который понимает всю важность тренировки.

– Тренировка – это все, – заметил Жак де Кад.

– Безусловно, – подтвердил Астольф де Куртре. – Годибер применяет замечательные методы тренировки, целую систему, основанную на опыте: массажи, растирания, диету, предшествующую усиленному питанию. Его девиз: «Долой жир! Крепите мускулы». И за полгода, друзья мои, вы усваиваете такой эластичный кулачный удар, такой крылатый ножной удар...

Госпожа де Шальмо спросила:

– А почему вам не свергнуть это жалкое министерство?

И при одной мысли о кабинете Вальдека она с негодованием тряхнула своей хорошенькой семитической головкой.

– Не беспокойтесь, сударыня, – ответил Лакрис. – Это министерство будет заменено точно таким же.

– Другим республиканским министерством, таким же расточительным, – сказал г-н Тонелье. – Францию разорят.

– Да, – заметил Леон, – другим совершенно таким же министерством. Но новое покажется не столь неприемлемым: это уже не будет министерство «Дела». Нам придется во всех своих газетах вести против него кампанию по крайней мере полтора месяца, чтобы вызвать к нему ненависть.

– Были ли вы, сударыня, в Малом дворце? – спросил Фремон баронессу.

Она ответила, что была и видела там прелестные шкатулки и бальные записные книжечки.

– Эмиль Молинье, – продолжал инспектор по делам искусств, – организовал там замечательную выставку французского искусства. Средние века представлены ценнейшими памятниками. Восемнадцатому веку тоже отведено почетное место, но помещение позволяет вместить больше. Вы, сударыня, владеете сокровищами искусства, – не откажите в великодушии выставить там какой-нибудь шедевр.

Это соответствовало действительности: великий барон оставил своей вдове настоящие сокровища искусства. Граф Даван ограбил для него провинциальные замки, выудил во всех концах Франции, на берегах Соммы, Луары и Роны у усатых, невежественных и обнищавших дворян портреты их предков, историческую мебель, дары королей своим любовницам, величавые памятники монархии и славное наследие знатнейших родов. В ее монтильском замке и в ее доме на проспекте Марсо имелись творения самых прославленных французских краснодеревцев и величайших резчиков XVIII века – комоды, медальеры, секретеры, стоячие и каминные часы, подсвечники – и бесподобные тканые обои блеклых тонов. Но хотя Фремон, и перед ним Термондр – просили ее послать на историческую выставку какую-нибудь мебель, бронзу, гобелены, она всегда отказывалась. Обычно щеголяя своими сокровищами и охотно, выставляя их напоказ, на этот раз она не захотела ничего послать. Жозеф Лакрис укреплял ее в этом решении: «Не давайте ничего на их выставку. Ваши вещи раскрадут, сожгут. Да и удастся ли им вообще организовать их международную ярмарку? Лучше не иметь дела с этими людьми».

Фремон, уже несколько раз получавший отказы, настаивал:

– Вы, сударыня, обладаете столькими прекрасными вещами и столь достойны ими обладать, будьте же щедрой и великодушной, выкажите себя истинной патриоткой, ибо дело идет о патриотизме. Пошлите в Малый дворец ваше ризенеровское бюро, украшенное севрским фарфором. С такой мебелью вам нечего бояться соперников. Равную ей можно найти разве только в Англии. Мы поставим на бюро ваши фарфоровые вазы, принадлежавшие великому дофину, эти два чудесных китайских сосуда с бледно-зеленой глазурью, которые Каффьери оправил в бронзу. Это будет ослепительно!

Граф Даван прервал Фремона:

– Эта оправа не может быть работы Филиппа Каффьери, – произнес он тоном скорбной мудрости. – На ней имеется метка «С», увенчанная геральдической лилией. Это марка Кресана. Можно этого не знать. Но незачем утверждать то, что не соответствует истине.

Фремон продолжал упрашивать:

– Сударыня, покажите ваши перлы: присоедините к этому экспонату настенный ковер с лепренсовской «Московской невестой». И вы заслужите право на национальную признательность.

Она готова была уступить. Но, прежде чем согласиться, она вопросительно посмотрела на Жозефа Лакрису, который сказал ей:

– Пошлите им ваш восемнадцатый век, раз им его не хватает.

Затем из уважения к графу Давану она спросила, как ей поступить.

Он ответил:

– Поступайте, как хотите. Мне нечего вам советовать. Пошлете ли вы свою мебель на выставку или не пошлете, это все равно. Из ничего ничего не выйдет, как говорил мой старый друг Теофиль Готье.

«Номер прошел! – подумал Фремон. – Сейчас извещу министерство, что выцарапал коллекцию Бонмонов. Это стоит орденой розетки».

И он внутренне улыбнулся. Не то, чтобы он был глупцом. Но он не презирал общественных отличий и находил пикантным, что осужденный коммунары может стать кавалером ордена Почетного легиона.

– Мне еще надо подготовить речь для воскресного банкета в Грандз'Экюри, – сказал Жозеф Лакрис.

– О! – вздохнула баронесса. – Не трудитесь. Это лишнее. Вы так замечательно импровизируете!..

– А кроме того, мой милый, – заметил Жак де Кад, – вовсе не трудно выступать перед избирателями.

– Не трудно, если хотите, – отвечал избранник народа Лакрис, – однако

дело во всяком случае деликатное. Наши противники кричат, что у нас нет программы. Это клевета; у вас есть программа, во...

– Охота на красных куропаток! вот в чем программа, господа, – вмешался Серебряная Нога.

– Но избиратель, – продолжал Жозеф Лакрис, – сложнее, чем обычно себе представляют. Так, меня избрали в Грандз'Экюри монархисты, затем, разумеется, в бонапартисты, а также... как бы это выразиться?.. республиканцы, которые не хотят республики, но все же остаются республиканцами. Такое умонастроение не редкость среди мелких торговцев в Париже. Например, колбасник, председатель моего комитета, кричит об этом во всю глотку: «Республика этих республиканцев, на черта она мне нужна! Если б я мог, я взорвал бы ее даже с риском самому взлететь на воздух. Но за пашу республику, господин Лакрис, я готов пожертвовать жизнью...» Конечно, есть почва для соглашения: «Объединимся вокруг знамени... Не дадим в обиду армию... Долой изменников, подкупленных иностранцами и подрывающих национальную оборону...» Чем это не почва для соглашения?

– Есть еще антисемитизм, – вставил Анри Леон.

– Антисемитизм, – ответил Жозеф Лакрис, – пользуется успехом в Грандз'Экюри, потому что в квартале много богатых евреев, которые заодно с нами...

– А антимасонская кампания! – воскликнул Жак де Кад, который был религиозен.

– Все мы в Грандз'Экюри стоим за то, чтобы бороться с франкмасонами, – отвечал Жозеф Лакрис. – Те, кто посещает обедню, упрекают их в том, что они не католики. Социалисты-националисты упрекают их в том, что они не антисемиты. Каждое из наших сборищ заканчивается под тысячекратный крик: «Долой масонов!» В ответ на это гражданин Бисоло восклицает: «Долой поповщину!» Наши друзья тотчас же бьют его, опрокидывают наземь, топчут ногами, а полицейские волокут в участок. Дух в Грандз'Экюри превосходный. Но есть и ложные взгляды, которые надо искоренить. Мелкий буржуа еще не понимает, что одна только монархия в состоянии его осчастливить. Он еще не чувствует, что он морально вырастает, когда склоняет колени перед церковью. Лавочника отравили дурными книгами и дурными газетами. Он против злоупотреблений, приписываемых духовенству, и против вмешательства священников в политику. Многие из моих избирателей сами называют себя антиклерикалами.

– Вот как! – с грустью и удивлением воскликнула баронесса де

Бонмон.

– В провинции, сударыня, происходит то же самое, – сказал Жак де Кад. – По-моему, это значит выступать против религии. Кто против клира, тот против веры.

– Незачем скрывать от себя, – добавил Лакрис, – нам остается еще многое сделать. Какими способами? Вот это надо решить.

– Я стою за насильственные способы, – отозвался Жак де Кад.

– За какие? – спросил Анри Леон.

Наступило молчание, и Анри Леон продолжал:

– Мы достигли поразительных успехов. Но Буланже тоже достиг поразительных успехов. А между тем он вышел из строя.

– Его вывели из строя, – сказал Лакрис. – Нам нечего опасаться, что и нас выведут из строя. Республиканцы отлично защищались против него и очень слабо против нас.

– Поэтому я боюсь не наших врагов, а наших друзей, – опять заговорил Леон. – У нас есть друзья в палате. А чем они занимаются? Они не сумели даже хорошенько попотчевать нас маленьким министерским кризисом вкупе с маленьким президентским кризисом.

– Это было желательно, – возразил Лакрис. – Но это было невозможно. Если бы было возможно, Мелин бы это сделал. Надо быть справедливыми. Мелин делает, что может.

– В таком случае, – сказал Леон, – нам остается терпеливо ждать, чтобы республиканцы в сенате и в палате уступили нам место. Вы так это себе представляете, Лакрис?

– Ах! – вздохнул Жак де Кад, – я жалею о том времени, когда пускали в ход кулаки. Это было хорошее время.

– Оно может вернуться, – сказал Анри Леон.

– Вы думаете?

– Гм! если мы его вернем.

– Правильно.

– Мы – это количество, как сказал генерал Мерсье, Будем действовать.

– Да здравствует Мерсье! – гаркнул Серебряная Нога.

– Будем действовать, – продолжал Анри Леон. – Нечего терять время.

А главное – не остыть. Национализм надо глотать горячим. Пока он кипит – это крепительный эликсир. Остудите его – это аптечное пойло.

– Как пойло? – строго спросил Лакрис.

– Целительное пойло, радикальное средство, хорошее лекарство. Но больной проглотит его без всякого удовольствия и без всякой охоты... Не надо давать микстуре отстояться. Взбалтывайте перед употреблением, как

предписывают ученые фармацевты. В данный момент наша националистская микстура хорошо взболтана, она обладает приятным розовым цветом, отрадным для глаз, и слегка кисловатым вкусом, ласкающим небо. Если мы не будем встряхивать бутылку, жидкость утратит в значительной мере и цвет и вкус. Она даст отстой. Самая полезная часть осядет; монархические и религиозные партии, входящие в его состав, пойдут ко дну. Недоверчивый больной оставит большую часть снадобья в склянке. Взбалтывайте, господа, взбалтывайте!

– Что я вам говорил! – воскликнул де Кад.

– Взбалтывайте!.. Легко сказать. Взбалтывать надо умело, а не то рискуешь раздражить избирателей, – возразил Лакрис.

– О! Если вы рассчитываете на переизбрание... – заметил Леон.

– Кто вам говорит, что я на него рассчитываю? Я о нем и не думаю.

– Хорошо делаете. Не надо заранее думать о несчастье.

– Почему о несчастье? Вы предполагаете, что мои избиратели изменятся?

– Напротив, я боюсь, что они не изменятся. Они были недовольны, и они вас избрали. Они будут недовольны и через четыре года. И на этот раз – вами... Хотите совет, Лакрис?

– Что ж, пожалуйста.

– Вы получили две тысячи голосов?

– Две тысячи триста девять.

– Две тысячи триста девять... Нельзя удовлетворить две тысячи триста девять человек. Но дело не в одном количестве. Надо принять во внимание качество. Среди ваших избирателей есть довольно значительная группа антиклерикалов-республиканцев, мелких коммерсантов, низших чиновников. И это отнюдь не самые умные.

Лакрис, превратившийся в серьезного человека, ответил медленно и внушительно:

– Я вам объясню. Они республиканцы, но прежде всего они патриоты. Они голосовали за патриота, который думает иначе, чем они, который придерживается другого мнения, чем они, по вопросам, казавшимся им второстепенными. Их поведение было вполне достойным; надеюсь, что вы это подтвердите.

– Конечно, подтверждаю. Но между нами говоря, они не блещут гениальностью.

– Не блещут гениальностью? – возразил с горечью Лакрис, – не блещут гениальностью? Я не говорю вам, что они так же гениальны, как...

Он стал искать в уме имя какого-нибудь гениального человека, но

потому ли, что такого не было среди его друзей, потому ли, что неблагодарная память не подсказывала ему нужного имени, или потому, что природное недоброжелательство побуждало его умолчать о лицах, всплывавших в его мозгу, он не закончил фразы и продолжал с некоторой досадой:

– Наконец, я не понимаю, за что вы их браните.

– Я их не браню. Я говорю только, что они глупее ваших монархических и католических избирателей, которые поддержали вас вместе с благочестивыми отцами. Вот эти знали, что делают. А потому ваши интересы и ваш долг обязывают вас работать на них; во-первых, потому, что они думают, как вы, и затем потому, что благочестивых отцов не проведешь, как проводят олухов.

– Заблуждаетесь! Глубоко заблуждаетесь! – воскликнул Жозеф Лакрис. – Сразу видно, дорогой мой, что вы не знаете избирателя. А я-то его знаю! Олухов не легче обмануть, чем остальных. Они впадают в обман, это верно. Они впадают в обман на каждом шагу. Но обмануть их – это не так...

– Нет! Нет! Их можно обмануть; надо только знать, как за это взяться.

– Вот тут-то и загвоздка! – вырвалось у Лакриса.

Но сразу же он спохватился:

– Я вовсе и не хочу их обманывать.

– Кто советует вам их обманывать? Их надо удовлетворить. И вы можете это сделать без особых усилий. Вы недостаточно часто видите с отцом Адеодатом. Это хороший советчик, и до чего умеренный! Он скажет вам со своей тонкой улыбкой, засунув руки в рукава: «Господин член муниципалитета, обеспечьте за собой ваше большинство, удовлетворите его. Мы не будем в обиде, если в совете иной раз и проголосуют за незыблемость прав человека и гражданина или даже против вмешательства церкви в дела государственного управления. Думайте на публичных заседаниях о республиканских избирателях, а за нас будьте в комиссиях. Там-то, в покое и тишине делают настоящие дела. Пусть большинство муниципального совета иногда выскажется в антиклерикальном духе; эту беду мы перенесем терпеливо. Но важно, чтобы главные комиссии были глубоко религиозны. Они будут сильнее самого совета, потому что активное и сплоченное меньшинство всегда одерживает верх над инертным и разрозненным большинством». Вот, дорогой Лакрис, что скажет вам отец Адеодат. Он обладает неподобным спокойствием духа и терпением. Когда кто-нибудь из наших друзей приходит к нему и с трепетом говорит: «О отец мой, какие безобразия затевают франкмасоны! Школьный стаж, статья

седьмая, закон об ассоциациях, – страшно подумать!» – добрейший отец улыбается и ничего не отвечает. Он ничего не отвечает, но думает: «Мы и не то перевидали. Мы видели восемьдесят девятый и девяносто третий год, упразднение духовных общин и продажу церковного имущества. А разве некогда, при наихристианнейшей монархии, мы сберегли и увеличили свое имущество без усилий и борьбы? Кто так думает, плохо знает историю Франции. Наши изобильные аббатства, наши города и села, наши вилланы, наши пастбища и мельницы, наши леса и пруды, наши суды и право юрисдикции постоянно оспаривались могущественными врагами, сеньорами, епископами и королями. Нам приходилось отстаивать с оружием в руках или же перед трибуналами – сегодня луг или дорогу, завтра замок или лобное место. Чтобы оградить наши богатства от алчности светской власти, мы должны были ежеминутно предъявлять старинные хартии Клотария и Дагобера, подлинность которых оспаривает нечестивая наука, ныне преподаваемая в государственных школах. Десять веков вели мы тяжбу с королевскими чинами. А с республиканским правосудием мы ведем тяжбу всего лишь тридцать лет. И кое-кто думает, что мы устали! Нет, мы не испугались и не пали духом. У нас есть деньги и недвижимость. Это казна бедных. Чтобы ее сохранить и умножить, мы рассчитываем на двоякую помощь, которая не покинет нас в беде: на покровительство небес и на парламентское бессилие». Таковы мысли, гармонично группирующиеся под лоснящимся черепом отца Адеодата. Лакрис, вы были ставленником отца Адеодата. Вы его избранник. Побывайте у него. Это испытанный политик. Он даст вам хорошие советы. Вы научитесь у него, как удовлетворить колбасника, сочувствующего республиканцам, и очаровать торговца зонтами, который считает себя свободомыслящим. Побывайте у отца Адеодата. Побывайте у него не раз и не два, бывайте у него часто.

– Мне уже приходилось беседовать с ним, – ответил Жозеф Лакрис. – Он действительно очень умен. Эти праведные отцы разбогатели с поразительной быстротой. Они творят много добра в квартале.

– Очень много добра... – подтвердил Анри Леон. – Весь четырехугольный блок домов между манежем, улицей Грандз'Экюри, особняком барона Гольсберга и внешним бульваром принадлежит им. Они терпеливо осуществляют гигантский план. Они поставили себе задачей воздвигнуть в центре Парижа, – в вашем избирательном округе, дорогой мой, – второй Лурд, огромную базилику, которая будет привлекать ежегодно миллионы паломников. А пока что они застраивают свои обширные территории доходными домами.

– Слышал, – ответил Лакрис.

– Я тоже это слышал, – сказал Фремон. – Я знаком с их архитектором. Это Флоримон, необыкновенный человек. Вы знаете, что праведные отцы организуют паломнические экскурсии по Франции и за границу. Флоримон, с нечесаной шевелюрой и девственной бородой, сопровождает пилигримов при посещении соборов. Он стилизует свою наружность под мастера из цеха каменщиков тринадцатого века. Он взирает на башни и звонницы экстатическим взором. Дамам он объясняет строение стрельчатой арки и христианскую символику. Показывает в центральной розетке портала Марию – цветок древа Иесеева. Вперемежку со слезами, вздохами и молитвами он вычисляет коэффициент давления свода на стены. Когда Флоримон приходит в трапезную, где собираются монахи и паломники, его лицо и руки еще серы от пыли старых камней, к которым он прикасался, и свидетельствуют о благочестии этого поденщика католицизма. Его мечта, как он говорит, «принести и свой камень, камень смиренного труженика, для построения нового святилища, которое будет стоять столько же лет, сколько будет стоять мир». И, вернувшись в Париж, он строит тошнотворные здания, доходные дома из дрянной известки и пустотелых кирпичей, жалкие постройки ребровой кладки, которые не продержатся и двадцати лет.

– Но им и незачем держаться двадцать лет, – сказал Анри Леон. – Ведь это и есть те дома в Грандз'Экюри, о которых я вам говорил; они со временем уступят место грандиозной базилике святого Антония со всякими служебными постройками – целому церковному городу, который возникнет здесь через пятнадцать лет. А за пятнадцать лет праведные отцы завладеют всем кварталом, голосовавшим за нашего друга Лакриса.

Госпожа де Бонмон поднялась и взяла под руку графа Давана.

– Вы понимаете... я не люблю расставаться со своими вещами... Выпускать вещи из дому – значит подвергать их риску... Потом не оберешься неприятностей... Но раз этого требуют интересы страны... Родина прежде всего, – вы не откажетесь отобрать с господином Фремоном то, что должно пойти на выставку.

– Все равно, – оказал Жак де Кад, вставая из-за стола, – напрасно, Делион, совершенно напрасно вы не практикуетесь в приеме отца Франсуа.

Кофе пили в маленькой гостиной.

Серебряная Нога, певец-шуан, сел за рояль. Он перед этим присоединил к своему репертуару несколько роялистских песен эпохи Реставрации, рассчитывая стяжать ими изрядный успех в гостиных.

Он запел на мотив «Часового»:

На поле чести пал Баярд-герой,
Сраженный насмерть, полн одушевления!
Гордясь, что лег костями за край родной,
Величие души явил он в опьяненье:

«О сколь завиден мой удел!
Венчаюсь я без ропота с могилой;
Пока мой дух не отлетел,
Без страха я служить умел
Монарху, родине и милой».

Шасон дез'Эг, председатель националистского комитета действия, подошел к Жозефу Лакрису.

– Так как же, господин Лакрис, организуем мы что-нибудь четырнадцатого июля?

– Совет не может провоцировать волнений, – с достоинством отвечал Лакрис. – Это не входит в его компетенцию. Но если произойдут внезапные манифестации...

– Время не терпит, опасность растет, – возразил Шасон дез'Эг, которому грозило исключение из клуба и на которого в суд была подана жалоба по обвинению в мошенничестве. – Надо действовать.

– Не нервничайте, – ответил Лакрис. – Мы сильны своей численностью, деньги в наших руках.

– Деньги в наших руках, – задумчиво повторил Шасон дез'Эг.

– Численность и деньги – этого достаточно, чтобы провести выборы, – продолжал Лакрис. – Через двадцать месяцев мы захватим власть и удержим ее за собой на двадцать лет.

– Да, но до тех пор... – вздохнул Шасон дез'Эг, и взгляд его округлившись глаз с беспокойством устремился в неизвестное будущее.

– До тех пор, – ответил Лакрис, – мы будем обрабатывать провинцию. Мы уже начали.

– Лучше покончить со всем сейчас же, – заявил Шасон дез'Эг тоном глубокого убеждения. – Мы не должны дать возможность этому изменническому правительству дезорганизовать армию и парализовать национальную оборону.

– Безусловно, – подтвердил Жак де Кад. – Следите за тем, что я вам скажу. Мы кричим: «Да здравствует армия!..»

– Ну, конечно, – прервал его Гюстав Делион.

– Дайте досказать. Мы кричим: «Да здравствует армия!» Это наш боевой клич. Но если правительство начнет заменять националистских генералов республиканскими генералами, то мы уже не сможем кричать: «Да здравствует армия!»

– Почему? – спросил Гюстав Делион.

– Потому что это значило бы кричать: «Да здравствует республика!» Кажется, ясно.

– Этого опасаться не приходится, – возразил Жозеф Лакрис. – Дух офицерства не оставляет желать ничего лучшего. Если даже изменническому министерству удастся провести одного республиканца на десять человек командного состава, то дальше этого оно и не пойдет.

– Но это было бы уже достаточно неприятно, – сказал Жак де Кад. – Потому что тогда мы были бы вынуждены кричать: «Да здравствуют девять десятых армии!» Это слишком длинно для боевого клича.

– Будьте покойны, – ответил Лакрис. – Когда мы кричим: «Да здравствует армия!» – всякий понимает, что это значит «Да здравствует Мерсье!»

Серебряная Нога пропел, сидя у рояля:

«За короля! За короля!»
Таков наш клич в старинном флоте.
Среди обломков корабля
Моряк кричит в водовороте,
Свой пыл предсмертный утоля:
«За короля!»

– Тем не менее, – продолжал настаивать Шасон дез' Эг, – четырнадцатое июля подходящий день, чтобы начать разгром. Толпа на улицах, толпа наэлектризованная, возвращающаяся с парада и приветствующая проходящие полки!.. Если действовать методически, то можно многое сделать в такой день. Можно взбудоражить народную гущу.

– Ошибаетесь, – возразил Анри Леон. – Вы не знаете физиологии толпы. Добронравный националист, направляясь домой после смотра, несет на руках грудного младенца и тащит за собой другого пискляка. За ним идет его жена, неся в корзине литр вина, хлеб и колбасу. Попробуйте-ка, взбудоражьте человека с двумя детенышами, женой и семейным завтраком!.. К тому же, извольте видеть, толпа руководствуется всегда простыми ассоциациями. – Вы не заставите ее взбунтоваться в

праздничный день. Цепь газовых рожков и бенгальские огни внушают толпе веселые и мирные мысли... Простолюдин глазееет на площадку, перед кабачком, увешанную с четырех сторон китайскими фонариками, и на обитую кумачом эстраду для музыкантов и пускается в пляс. Чтобы поднять волнение на улицах, надо уловить психологический момент.

– Не понимаю, – заявил. Жак де Кад.

– А между тем следовало бы понять, – сказал Анри Леон.

– Вы находите, что я не очень умен?

– Что вы!

– Если находите, можете сказать. Вы меня не обидите. Я не строю из себя умника. А кроме того, я заметил, что люди, которых считают умными, оспаривают наши идеи, наши верования и хотят истребить все, что мы любим. Поэтому мне было бы весьма тягостно оказаться тем, что называют умным человеком. Предпочитаю быть дураком и думать то, что я думаю, верить в то, во что верую.

– Вы совершенно правы, – сказал Леон. – Нам надо оставаться тем, что мы есть. И даже если мы не глупцы, то поступать надо так, как будто мы глупцы. Только глупость и преуспевает на свете. Умные люди всегда остаются в дураках. Они никогда не достигают того, чего хотят.

– Верно! очень верно то, что вы говорите, – воскликнул Жак де Кад.

Серебряная Нога запел:

«Да здравствует король!» – таков народный глас.

Лишь этот лозунг Франции достоин.

«Да здравствует король!» – в любом полку у нас

Три слова эти помнит каждый воин.

– Все равно, – сказал Шасон дез'Эг, – вам не следует отказываться, Лакрис, от методов восстания, – они самые лучшие.

– Вы просто дети, – ответил Леон. – У нас есть только один способ действия, один единственный, но зато верный, могучий, эффективный. Это «Дело». Нас породило «Дело»; не забывайте этого, националисты! Мы росли и благоденствовали благодаря «Делу». Оно одно нас кормило, оно одно нас еще поддерживает. От него получаем мы наши соки и питание, оно доставляет нам живительную субстанцию. Если, оторвавшись от почвы, оно завянет и умрет, мы зачахнем и погибнем. Притворяйтесь, будто вы его выкорчевываете, а на самом деле растите его заботливо, питайте его, орошайте. Народ простодушен; он расположен в нашу пользу. Глядя на то,

как мы работаем заступом, копаем и скребем вокруг растения, нашего кормильца, он подумает, что мы стараемся вырвать его с корнем. И он будет питать к нам нежность, благословлять ваше рвение. Ему никогда не придет на ум, что мы его выращиваем. «Дело» опять расцвело в самый разгар выставки. А бесхитростный народ не заметил, что порадели об этом мы.

Серебряная Нога пропел:

Уже наш бравый генерал
К веселью подал нам сигнал:
Давайте ж пить напропалую!
Пусть в честь его, другим в пример,
Поет солдат и офицер:
«Я,
Тра-ля-ля,
Я – воин короля,
И я горжусь, и я ликую».

– Очень красивая песенка, – прошептала г-жа де Бовмон, закрывая глаза.

– Да, – подтвердил Серебряная Нога, встряхнув своей жесткой гривой. – Она носит название «Весельчак Буте забритый лоб, или Воин короля». Это – маленький шедевр. Считаю, что я набрел на счастливую мысль, когда вздумал откопать эти старые песни роялистов времен Реставрации.

Я,
Тра-ля-ля,
Я – воин короля!

Тут он внезапно хлопнул огромной лапицей по крышке рояля в том месте, где положил свои четки и медали.

– Тысяча дьяволов, Лакрис! Не трогайте моих четок. Их освятил его святейшеево папа.

– Все равно, – сказал Шасон дез'Эг, – мы должны манифестировать на улице. Улица принадлежит нам. Пусть это знают. Поедемте четырнадцатого в Лоншан!..

– Я с вами, – откликнулся Жак де Кад.

– Я тоже, – поддержал его Делион.

– Ваши манифестации – идиотизм, – сказал молодой барон, до тех пор хранивший молчание.

Он был достаточно богат, чтобы не принадлежать ни к какой политической партии.

Он добавил:

– Меня начинает тошнить от национализма.

– Эрнест! – произнесла баронесса с ласковой строгостью матери.

Молодой Делион, который был ему должен, и Шасон дез'Эг, собиравшийся взять у него в долг, не рискнули открыто ему перечить.

Шасон понатужился, чтобы улыбнуться, словно был в восторге от острого словца, а Делион уступчиво ответил:

– Может быть, это и так. Но что же в наше время не тошнотворно?

Эта мысль навела Эрнеста на глубокие размышления, и, немного помолчав, он сказал с выражением искренней меланхолии:

– Верно! Все тошнотворно.

И задумчиво присовокупил:

– Вот хотя бы автопыхтелка; возьмет и завязнет на самом неподходящем месте. Досадно не то, что опаздываешь... Куда спешить? – везде одно и то же... Но, например, на днях я застрял на пять часов между Морвилем и Буле. Вы не знаете этого места? Это не доезжая Дре. Ни дома, ни деревца, ни пригорка. Все плоско, желто, кругло, какое-то дурацкое небо над тобою, похожее на стеклянный колпак для дыни. Можно состариться от одного лицезрения такой местности... Впрочем, плевать, попробую новую систему... семьдесят километров в час... и мягкий ход... Делион! Хотите прокатиться со мной? Я еду сегодня вечером.

XXVI

– Трублионы, – сказал г-н Бержере, – возбуждают во мне живейший интерес. А потому я с некоторым удовольствием обнаружил в небезынтересной книге, написанной Николем Ланжелье, парижанином, вторую главу, посвященную этим людишкам. Вы помните первую, господин Губен?

Губен ответил, что знает ее наизусть.

– Хвалю, – заявил Бержере. – Ибо эта книга своего рода требник. Я сейчас прочту вам вторую главу, которая понравится вам не меньше предыдущей.

И маститый учитель прочел следующее:

«О сумятице и великом переполохе, учиненном трублионами, и об отменной речи, которую держал перед ними Робен Медоточивый.»

В оные дни учинили трублионы превеликую трескотню в старом и новом городе и на левобережной стороне, ударяя каждый чумичкой по «трублио», что означает железную сковороду или кастрюлю, и была эта музыка весьма сладкозвучна. И шли они, возглашая: «Смерть изменникам и марранам!» Вешали они на стенах, а равно в потайных и ретирадных местах хорошенькие маленькие геральдические щиты с таковыми надписями: «Смерть марранам! Не покупайте у жидов и у ломбардцев! Долгие лета Тинтиннабулу!» И вооружались они огнестрельным и холодным оружием, ибо были дворянами. Однако же сопровождала их также Тетушка Дубинка, и в снисходительности своей пускали они в ход кулаки, не гнушаясь мужицкой забавы. Речи вели они только о том, чтобы крошить и раскрошить, и говорили на своем языке и наречии, – отменно приспособленном, весьма уместном и мысли их соответственном, – что хотят людям «опорожнить коробочку»; сие же в собственном смысле означало «вытряхнуть мозги из черепной коробки», где они покоятся согласно закону и предначертанию Природы. И делали как говорили, всякий раз, когда представлялся случай. А поелику были они разумом весьма

просты, то воображали, будто они одни хороши и кроме них никто не хорош, напротив того, все плохи, – а сие есть положение удивительно ясное, определение превосходное и для боевых целей великолепное.

И были среди них прекрасные и высокородные дамы, отменно разодетые, каковые прельстительным образом, всякими улещаниями и жеманством, подстрекали оных любезных трублионов разносить, колошматить, протыкать, повергать и сокрушать всякого, кто не трублионствовал. Не дивитесь сему и признайте в этом естественную склонность дам к жестокостям и насилиям, их восхищение перед гордой отвагой и воинственной доблестью, как это можно усмотреть из древних историй, где говорится, что бог Марс был пламенно любим Венерой, а также другими богинями и смертными женщинами в несметном числе, а, напротив, Аполлон, хотя и сладкозвучно играл на струнах, видел лишь презрение от нимф и служанок.

И не проходило ни одно сходбище трублионов в городе, ни одно их шествие, ни пир, ни похороны без того, чтобы какие-нибудь бедные горожане – один, два, а то и больше – не были избиты ими и оставлены наполовину, на три четверти и даже совсем мертвыми на мостовой, что было достойно великого удивления. И повелся обычай: когда трублионы проходили по городу, то тех, кто отказался трублионствовать и был за то покалечен, сердобольно относили на носилках в лавку или лекарственный склад какого-нибудь аптекаря. По этой ли или по другой причине стояли все аптекари в городе за трублионов.

Случилось в то время быть превеликой парижской ярмарке во Франции, знаменитой и более обширной, нежели ярмарки в Экс-ла-Шапель, во Франкфурте, в Сен-Дени и нежели прекрасное торжище в Бокере. Была она парижская ярмарка так богата и изобильна товарами, изделиями искусства и всяческими измышлениями, что некий сведущий человек, по имени Корнелий, который много повидал на своем веку и сам был неглуп, говаривал, что, видя ее, посещая и созерцая, даже утратил он заботу о спасении собственной души и охоту к еде и питью. Чужеземные народы толпами повалили в город парижцев, чтобы повеселиться и порастрясти кошелек. Королей и корольков понаехала тьма, чем крепко чванились местные петухи и петушки, говоря: «Это великая для нас честь». Купцы, от

толстосума до лотошника, Наживай-Незевай и Ключ-Помалу, мастеровой и промысловый люд, все надеялись сбыть немало товара иноземцам, что съехались в их город на ярмарку. Торгаши и разносчики распаковывали тюки, трактирщики и кабатчики расставляли столы, весь город из конца в конец превратился поистине в обильный рынок и веселую трапезную. Надобно сказать, что названным купцам, – не всем, но большей части, – по нраву пришлось трублионы, коими они восторгались за страшную силу глотки и великий кулачный размах, и даже богатейшие купцы-марраны и менялы-марраны глядели на них с почтением и смиренным желанием не быть избитыми.

Итак, купцы и промысловый люд любили их, но, естественно, также любили и свой товар и свою выгоду и стали побаиваться, как бы помянутые молодчики бешеными выходками, внезапными набегами, наскоками, взрывчатыми жестянками и трублионствами не опрокинули их ларьки и прилавки на перекрестках, на бульварах и в садах и не испугали бы жестокими и неожиданными убийствами иностранцев, так что те утекли бы из города еще с полными кошельками. По правде сказать, опасность эта была не очень велика. Трублионы грозились ужасно и преустрашительно. Но крушили они людей в малом числе – одного, двух, трех зараз, как уже говорилось, и всегда местных жителей; никогда они не набрасывались ни на англичанина, ни на немца, ни на других каких иноземцев, но всегда лишь на своих сограждан. Бесчинствовали в одном месте, а город был велик; так и сходило оно незаметно. Однако возможно было, что они войдут во вкус и пожелают развернуться еще шире. Казалось к тому же не вполне уместным, чтобы на этом вселенском торжище и раздольном пире ходили трублионы, скрежеща зубами, вращая горящими глазами, сжимая кулака, раскорячивая ноги, испуская бешеный лай и истошное улюлюкание, и опасались парижанцы, как бы трублионы не принялись совсем некстати творить уже теперь то самое, что они могли совершать без помехи и препоны после празднества и ярмарки, то есть убивать то тут, то там какого-нибудь беднягу.

Тогда стали поговаривать горожане, что надо навести спокойствие, и вынесли согласное постановление, чтобы в городе царил Мир. Но трублионы слушали это одним ухом и отвечали: «Однако жить, не нападая на врага или по крайности на

незнакомца, разве это отрада? Если мы оставим в покое евреев, то не видать нам царствия небесного. Ужели нам сидеть сложа руки? Господь повелел в поте лица своего есть хлеб свой». И, взвешивая в уме глас народный и всеобщее постановление, пребывали в нерешительности.

Тогда один старый трублион, по имени Робен Медоточивый, собрал вокруг себя всех главарей трублионских. Его уважали, дочитали и высоко ценили трублионы, знавшие, что был он мастер на всякие штуки и неистощим в хитростях и лукавствах. Разверзши рот, похожий на пасть старой щуки с поредевшими зубами, но все же еще достаточно зубастой, чтобы хватать мелких рыбешек, сказал он наисладчайшим голосом:

– Слушайте, друзья; слушайте все. Мы честные люди и добрые сотоварищи. Мы отнюдь не дураки. Будем требовать успокоения. Скажу больше: пожелаем сами успокоения. Успокоение – сладостная вещь. Успокоение – драгоценнейшая мазь, гиппократово снадобье и аполлониев бальзам. Это хорошая лекарственная настойка, это – липа, мальва, зинзивей. Это – сахар, это – мед. Это – мед, говорю вам, а разве я не Робен Медоточивый? Я питаюсь медом. Вернись Золотой век, и я буду лизать мед со стволов священных дубов. Заверяю вас. Хочу успокоения. Желайте же успокоения.

Услыхав такие слова Робена Медоточивого, начали трублионы строить злые рожи и перешептываться: «Неужели это Робен Медоточивый говорит нам такие речи? Он нас больше не любит. Он нам изменяет. Он ищет, как бы повредить нам, или у него зашел ум за разум». А наиболее трублионствующие говорили: «Чего хочет этот старый харкун? Ужели он думает, что мы побросаем наши палки, дубины, дреколье, кистени и славненькие маленькие огнестрельные трубочки, которые мы носим в карманах? Что мы такое во время мира? Ничто. Нас ценят только пока мы деремся. Или хочет он, чтобы мы больше не дрались? Чтобы мы больше не трублионствовали?» И поднялся великий шум и ропот в собрании, и было сходбище трублионов подобно ревущему морю.

Тогда добряк Робен Медоточивый простер свои маленькие желтые руки над возбужденными головами наподобие какого-нибудь Нептуна, умиряющего бурю, и, вернув или почти вернув трублионский океан в его безмятежное и спокойное лоно,

продолжал с великой учтивостью:

– Я ваш друг, мои милочки, и добрый советчик. Выслушайте, что я вам скажу, прежде чем сердиться. Когда я говорю: «Желайте успокоения», ясно, что я говорю об успокоении наших врагов, противников и всех противомыслящих, противоречащих и противодействующих. Очевидно и ясно, что я говорю об успокоении всех, кроме нас, об успокоении полиции и магистратуры, нам враждебной и противоборственной, об успокоении мирных гражданских чиновников, облеченных полномочиями и властью предупреждать, удерживать, обуздывать, укрощать всякое трублионство, об успокоении суда и закона, которые угрожают нам. Пожелаем им всем глубокого и непробудного успокоения; пожелаем, чтобы всякий, кто не трублион, погрузился в бездну и пропасть вечного покоя. Вечный покой даждь им, господи! Вот чего мы хотим. Мы не требуем нашего успокоения. Мы не успокоимся. Когда мы поем «да починут в мире», разве это для нас? У нас нет желания опочить. Если ты мертв, то уже надолго. Мы, живые, дадим мир не живым, а мертвым, не на этом, а на том свете. Это вернейший мир. Чтобы я хотел успокоения! Что я, олух? Или вы не знаете Робена Медоточивого? У меня, мои милочки, имеется еще не один фокус-покус прозапас в фиглярской котомке. Или вы менее догадливы, мои ягнятки, чем сопляки и школьники-пострелята, которые, бегаячи вперегонки и играючи в салки, когда хотят захватить другого врасплох, кричат ему «чур чура» в знак передышки и перемирия, а сами, пользуясь его неосторожностью и доверчивостью, обгоняют его или салят и тем его посрамляют?

Таким же образом поступаю и я, Робен Медоточивый, доверенный короля. А если у меня, как это часто случается, есть бдительные и недоверчивые противники, действующие в совете, я говорю им: «Мир, мир, мир, господа. Мир вам!» – и тихонько кладу под их скамью натруску пороху, старые гвозди и хороший фитиль, конец которого держу в руке. Затем, притворившись мирно спящим, я в удобный миг подпаливаю фитиль. И если они не взлетают на воздух, то уже вина не моя. Значит, порох оказался лежалым. В таком случае – до другого раза.

Дорогие друзья мои, берите пример с главарей, руководителей и властителей. Разве вы не видите, что Тинтиннабул притих. В данное время он больше не

тинтиннабульствует. Он выжидает удобного случая, чтобы вновь затинтиннабульствовать. А разве он успокоился? Вы, конечно, этого не думаете. А молодой Трублион? Хочет ли он успокоения? Нет. Он ждет. Поймите же хорошенько: для вас тоже полезно, выгодно и необходимо выказывать благожелательное, благодушное, смягчающее и очищающее душу стремление к миру. Что вам это стоит? Ничего. Вы же извлечете из этого большую пользу. Надо, чтобы вы, мятежники, казались мирными, а чтобы другие – те, кто не трублионствует, те, кто и в самом деле миролюбив, казались бы мятежными, сердитыми; сварливыми, взбешенными и упорствующими, неблагожелательными и враждебными столь желанному, столь любезному и долгожданному миру. Таким образом пойдет молва, что вы горите стремлением и любовью к благу и общественному покою, а противники ваши, напротив, питают злостное намерение потрясти и разрушить весь город и окрестности. И не говорите мне, что это трудно. Все будет так, как вы того хотите. Обморочите простой народ, как вам заблагорассудится. Народ поверит тому, что вы будете говорить. Он не заткнет ушей. Скажите им: «Хотим успокоения» – и все тотчас же поверят, что вы его хотите. Скажите это, дабы доставить им удовольствие. Это вам ничего не стоит, а между тем легче вам будет разбивать черепа вашим врагам и противоборцам, кои всегда жалостно блеяли: «Мир, мир!», ибо сами они кротки, как овцы, – это и оспаривать невозможно. И вы скажете: «Они не хотели мира – мы их убили. Мы хотим мира, мы его установим, когда будем полновластными господами. Миротвориво воевать – что может быть похвальнее?» Кричите: «Мир! мир!» и убивайте. Вот это похристиански. «Мир! мир! Этот уже не встанет! Мир! мир! Я уколошил троих!» Намерение было мирное, а судить вас будут по намерениям вашим. Идите и говорите: «Мир!» – и бейте без пощады. Монастырские колокола будут заливаться во-всю, прославляя вас га миролюбие, а мирные граждане будут провожать вас лестными похвалами и, видя ваши жертвы, распостертые на мостовой с распоротым брюхом, скажут: «Вот это хорошо! Так и надо для мира. Да здравствует мир! Без мира – уж какая это жизнь!»

XXVII

Госпожа де Бонмон была знакома с выставкой, поскольку обедала там несколько раз. В этот вечер обед происходил в «Прекрасной шоколаднице», швейцарском ресторане, помещающемся, как известно, на берегу Сены. Г-жу де Бонмон сопровождал цвет воинствующего национализма: Жозеф Лакрис, Анри Леон, Жак де Кад, Гюстав Делион, Гюг Шасон дез'Эг и г-жа де Громанс, очень походившая, как заметил Анри Леон, на хорошенькую служанку с той самой пастели Лиотара, сильно увеличенная копия которой служила вывеской кабачку.

Госпожа де Бонмон была кротка и нежна. Только любовь, неумолимая любовь могла привести ее в стан воителей. Она принесла туда душу, созданную, как у Антигоны Софокла, не для ненависти, а для доброжелательства. Она питала жалость к жертвам. Жамон был самой трогательной из жертв, которые ей довелось обнаружить, и преждевременная отставка этого генерала вызывала у нее слезы. Она подумывала о том, чтобы вышить ему подушку, на которой он мог бы покоить свое увенчанное славой чело. Она охотно делала такие подарки, вся ценность которых заключалась в чувстве. Ее смешанная с восхищением любовь к члену муниципалитета Жозефу Лакрису оставляла ей некоторый досуг, чтобы умиляться над бедами национальной армии и кушать пирожные. Она сильно полнела и приобрела вид почтенной дамы. Молодая г-жа де Громанс придерживалась менее великодушного образа мыслей. Сначала она любила и обманывала Гюстава Делиона, а затем и совсем его разлюбила. И Гюстав, снимая с нее на террасе «Прекрасной шоколадницы» светлое манто с розовыми цветами, шепнул ей на ухо лестные словечки: «Дрянь! шлюха!» – в присутствии метрдотеля, почтительно опустившего глаза. На ее лице не отразилось никакого ощущения. Но в глубине души она находила, что он мил, и чувствовала, что опять полюбит его. С своей стороны Гюстав призадумался и понял, что впервые в жизни произнес слова любви. И он направился к столу, где с сосредоточенным видом уселся рядом с Клотильдой. Обед, последний в этом сезоне, прошел невесело. Сквозила меланхолия разлуки и какая-то националистическая грусть. Конечно, еще не теряли надежды, – что я говорю! – питали огромную надежду! Но когда у вас есть все – и люди и деньги, прискорбно ожидать только от будущего, от смутного будущего, удовлетворения ваших давних желаний и настойчивого честолюбия. Один только Жозеф Лакрис сохранял

до некоторой степени душевную безмятежность; он считал, что достаточно сделал для своего короля, добившись того, что был избран республиканцами-националистами квартала Грандз'Экюри в члены муниципалитета.

– В общем, – сказал он, – четырнадцатого июля в Лоншане все прошло отлично. Приветствовали армию. Кричали: «Да здравствует Жамон! Да здравствует Бугон!» Чувствовался известный энтузиазм.

– Конечно, конечно, – ответил Анри Леон, – но Лубе нетронутым вернулся в Елисейский дворец, и дела наши в этот день мало продвинулись вперед.

Гюг Шасон дез'Эг, большой бурбонский нос которого был украшен совсем свежим рубцом, сдвинул брови и горделиво изрек:

– Могу вам только сказать, что у каскада была жаркая схватка. Когда социалисты крикнули: «Да здравствует республика! Да здравствуют солдаты!», то мы...

– Полиция, – заметила г-жа де Бонмон, – не должна была бы разрешать такие крики...

– Когда социалисты крикнули: «Да здравствует республика! Да здравствуют солдаты!» – мы отвечали: «Да здравствует армия! Смерть жидам!» – «Белые гвоздики», спрятанные мною в чаще, присоединились к моему кличу. Они закидали отряд «Красного шиповника» целым градом железных кресел. Это было бесподобно. Но что поделаешь? Толпа их не поддержала. Парижане явились со своими женами, детьми, корзинами, сетками, полными припасов... а родственники, приехавшие из провинции, чтобы посмотреть выставку... старые земледельцы с окостенелыми ногами, которые глядели на нас рыбьим взглядом... и еще крестьянки в косынках, недоверчивые, как совы. Разве распалишь такой семейный народ!

– Безусловно, момент был выбран неудачно, – сказал Лакрис. – Кроме того, мы должны до известной степени соблюдать перемирие из-за выставки.

– Все равно, – продолжал Шасон дез'Эг, – мы здорово подрались у каскада. Я лично так хватил гражданина Бпсоло, что втиснул ему голову в горб. Он повалился наземь: ни дать ни взять – черепаха. А затем: «Да здравствует армия! Смерть жидам!»

– Конечно, конечно, – глубокомысленно произнес Анри Леон, – но «Да здравствует армия! Смерть жидам!» – это слишком утонченно... для толпы. Это, если разрешите так выразиться, слишком литературно, слишком классично и недостаточно действенно. «Да здравствует армия!» – это

звучит красиво, благородно, корректно, но холодно... Да, холодно. А кроме того, позвольте вам сказать, есть только одно средство, одно единственное, чтобы увлечь толпу: паника. Поверьте: чтобы раскачать безоружную массу, надо нагнать на нее страх. Надо бежать и кричать... ну, скажем... «Спасайся, кто может! К оружию!.. Измена!.. Французы, вас предали!» Если бы вы прокричали это или что-либо подобное зловещим голосом, на бегу посреди поляны, пятьсот тысяч человек бросились бы бежать скорее вас, и их нельзя было бы остановить. Это было бы великолепно и потрясающе. Вас сбили бы с ног, затоптали бы, превратили бы в кашу... Но переворот был бы совершен.

– Вы думаете? – спросил Жак де Кад.

– Не сомневайтесь, – продолжал Леон. – «Измена! Измена!» – вот испытанный клич для бунта, клич, который придает крылья толпе, придает одинаковую прыть храбрым и трусливым, вселяет мужество в сто тысяч сердец и возвращает ноги паралитикам. Эх, дорогой Шасон, если бы вы крикнули в Лоншане: «Нас предали!», ваша старая сова с крутыми яйцами в корзине и с дождевым зонтиком и ваш земледелец с одеревенелыми ногами пустились бы бежать, как зайцы.

– Пустились бы бежать? Куда? – спросил Жозеф Лакрис.

– Почему я знаю куда. – Разве можно знать, куда побежит толпа во время паники? Да и знает ли она сама? Но не все ли равно? Толчок дан. Этого достаточно. В наше время не устраивают восстаний по системе. Занимать стратегические пункты – это было хорошо в давние времена Барбеса и Бланки. Теперь, при наличии телеграфа, телефона или хотя бы полицейского на велосипеде, всякое заранее намеченное выступление немислимо. Можете ли вы себе представить, чтоб Жак де Кад захватил полицейский участок на улице Гренель? Нет. Возможны только сумбурные, огромные, шумные выступления. И только страх, всеобщий и трагический страх способен всколыхнуть многолюдные массы народных празднеств и гуляний. Вы спрашиваете меня, куда ринулась бы четырнадцатого июля толпа, возбуждаемая, словно громадным черным знаменем, зловещими криками: «Измена! измена! иностранцы! измена!» Куда бы она ринулась?... Полагаю, что в озеро.

– В озеро? – повторил Жак де Кад. – Она бы утонула, вот и все.

– Так что ж! – продолжал Анри Леон. – Но тридцать тысяч утонувших граждан – это не пустяк! Неужели министерство и правительство не испытало бы после этого серьезных затруднений и реальной опасности? Разве это не был бы памятный денек?... Признайте, что вы не политики. Нет в вас нужной закваски, чтобы опрокинуть республику.

– Вы увидите это после выставки, – сказал Жак де Кад с искренней верой. – Я для начала уложил одного в Лоншане.

– А! вы уложили одного? – осведомился с интересом Гюстав Делион. – Что за тин?

– Рабочий-механик... Лучше было бы уложить сенатора. Но в толпе больше шансов схватиться с рабочим, чем с сенатором.

– А что же делал этот ваш механик? – спросил Лакрис.

– Он кричал: «Да здравствуют солдаты!» Я его и уложил.

Тогда молодой Делион, подстрекаемый благородным соревнованием, сообщил, что он лично разбил морду одному социалисту-дрейфусару, кричавшему: «Да здравствует Лубе!»

– Все идет хорошо! – заявил Жак де Кад.

– Могло бы быть и лучше в некоторых отношениях, – сказал Гюг Шасон дез'Эг. – Нам еще рано поздравлять друг друга. Четырнадцатого июля и Лубе, и Вальдек, и Мильеран, и Андре благополучно вернулись к себе домой. Это бы не случилось, если б меня послушали. Но никто не хочет действовать. У нас нет энергии.

– Ну, нет! Энергии у нас хватит. Но сейчас не время для действий. Вот закроется выставка – и мы нанесем решительный удар. Наступит подходящий момент. Францию после празднества будет мутить с похмелья. Она будет в дурном расположении духа. Наступит крах и безработица. Тогда легче всего можно вызвать министерский и даже президентский кризис. Не так ли, Леон?

– Разумеется, разумеется, – ответил Леон. – Но не надо скрывать от себя, что через три месяца мы будем немного менее многочисленны, а Лубе будет немного менее непопулярен.

Жак де Кад, Делион, Шасон дез'Эг, Лакрис, все трублионы хором запротестовали, сиюсь криками заглушить такое зловещее пророчество. Но Анри Леон продолжал очень ласковым голосом:

– Это фатально! Лубе с каждым днем будет терять свою непопулярность. Его ненавидели, потому что мы представили его в очень мрачном свете, но он постарается не оправдать полностью этой характеристики. Он недостаточно велик, чтобы уподобиться образу, созданному нами для устрашения масс. Мы изобразили Лубе гигантом, который покровительствует парламентским разбойникам и уничтожает национальную армию. Действительность покажется менее страшной. Увидят, что он не всегда покрывает воров и разлагает армию. Он будет присутствовать на смотрах. Это придаст ему вес. Он будет разъезжать в карете. Это импозантнее, чем ходить пешком. Будет раздавать ордена,

щедро сыпать академическими значками. Те, кому он пожалует орден или значок, перестанут верить, что он намерен предать Францию иностранцам. Ему посчастливится найти удачные словечки. Не сомневайтесь в этом: удачные словечки – самые глупые. Стоит ему только пуститься в поездку по стране, и его будут встречать овациями. Крестьяне будут кричать на его пути: «Да здравствует президент!», словно это еще тот добрый сыромятник, на которого мы умилились за его горячую любовь к армии. А вдруг опять клюнет русский союз... У меня мурашки пробегают по коже... Вы увидите тогда, как наши друзья националисты будут впрягаться в карету Лубе. Не скажу, что этот человек – великий гений. Но он не глупее нас. Он старается улучшить свое положение. Это вполне естественно. Мы хотели пустить его ко дну; он нас берет измором.

– Нас? Измором? Пусть попробует! – вскричал Жак де Кад.

– Время и само нас изморит, – продолжал Анри Леон. – Как хорош был, например, наш парижский муниципальный совет в вечер выборов, который принес нам большинство! «Да здравствует армия! Смерть жидам!» – ревели избиратели, пьянея от радости, гордости и любви. И сияющие избранники отвечали им: «Смерть жидам! Да здравствует армия!» Но так как новый муниципальный совет не будет в состоянии ни освободить от воинской повинности сыновей избирателей, ни распределить между мелкими торговцами деньги богатых евреев или хотя бы избавить рабочих от бедствий безработицы, то он обманет огромные надежды и станет настолько же ненавистным, насколько был прежде желанным. Он рискует в скором времени утратить свою популярность в связи с вопросом о монополиях, о водопроводе, о газе, об омнибусе.

– Вы ошибаетесь, дорогой Леон! – воскликнул Лакрис. – Что касается возобновления монополий, то опасаться нечего. Нам достаточно будет сказать избирателю: «Мы вам даем дешевый газ», и избиратель перестанет жаловаться. Парижский муниципальный совет, избранный на основе чисто политической программы, будет играть решающую роль в политическом и национальном кризисе, который разразится после закрытия выставки.

– Да, – сказал Шасон дез'Эг, – но для этого надо, чтобы он стал во главе демагогического движения. Если он окажется умеренным, сдержанным, разумным, сговорчивым, любезным, все пойдет к чорту! Пусть знает, что его выбрали для того, чтобы ниспровергнуть республику и разгромить парламентаризм.

– У-лю-лю! У-лю-лю! – крикнул Жак де Кад.

– Пусть там говорят мало, но толково, – продолжал Шасон дез'Эг.

– У-лю-лю! У-лю-лю!

Шасон дез'Эг пренебрежительно пропустил мимо ушей эти непрошенные выкрики.

– Надо, чтобы время от времени вносились требования, четкие требования, скажем вроде такого: «Привлечь к суду министров!»

Молодой де Кад заревел еще громче:

– У-лю-лю! У-лю-лю!

Шасон дез'Эг попытался его урезонить.

– Я в принципе ничего не имею против того, чтобы наши друзья улюлюкали на парламентариев. Но улюлюканье в собраниях – это последний аргумент меньшинства. Надо его приберечь для Люксембургского и Бурбонского дворца. Прошу вас обратить внимание, друг мой, на то, что в муниципальном совете мы располагаем большинством.

Это соображение не утихомирило молодого де Када, который заорал еще пуще прежнего:

– Улюлю! Улюлю! Умеете вы трубить в рог, Лакрис? Если не умеете, я вас обучу. Это необходимо члену муниципалитета.

– Повторяю, – сказал Шасон дез'Эг с таким серьезным видом, словно метал банк в баккара, – первое требование совета: привлечь к суду министров; второе требование: привлечь к суду сенаторов; третье требование: привлечь к суду президента республики... После нескольких требований такого крепкого свойства правительство распускает совет. Совет противится и обращается с пламенным призывом к общественному мнению. Оскорбленный Париж поднимает восстание...

– И вы, Шасон, верите, – мирно спросил Леон, – вы верите, что оскорбленный Париж восстанет?

– Верю, – ответил Шасон дез'Эг.

– А я не верю, – сказал Анри Леон. – Вы знаете гражданина Бисоло, раз вы стукнули его по черепу четырнадцатого июля. Я тоже его знаю. Однажды ночью, на бульварах, во время одной из манифестаций, последовавших за избранием Лубе, гражданин Бисоло направился ко мне, как к самому постоянному и великодушному из своих противников. Мы обменялись несколькими словами. Все наши молодчики лезли из кожи вон. Крики «Да здравствует армия!» грохотали от площади Бастилии до церкви святой Магдалины. Гуляющие забавлялись этим и улыбались нам благожелательно. Горбун взмахнул своей длинной рукой, как косарь косою, по направлению толпы и сказал мне: «Я знаю ее, эту клячу. Сядьте на нее. Она вдруг повалится на землю, когда вы меньше всего этого ожидаете, и переломает вам ребра». Так говорил гражданин Бисоло на углу улицы Друо

в тот день, когда Париж готов был стать на нашу сторону.

– Но он оскорбляет народ, ваш Бисоло! – воскликнул Жозеф Лакрис. – Он мерзавец.

– Он пророк, – возразил Анри Леон.

– Улюлю! Улюлю! Вот единственное средство! – пропел густым голосом молодой Жак де Кад.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Прекрасный гимн божеству, о бессмертный бедняк (*лат.*).

2

Дом мой – дом молитвы (*лат.*).